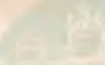


84. Уран
Н-16.



Ю. НАГИБИН и Я. РЫКАЧЕВ

ВЕЛИКОЕ ПОСОЛЬСТВО



ДЕТМЗ 1959

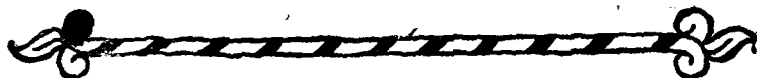
84. Урал
Н16 М-16-
Ю. НАГИВИН и Я. РЫКАЧЕВ

БЕЛНКОЕ ПОСОЛЬСТВО

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ



Рисунки В. Власова



Государственное Издательство Детской Литературы

Министерства Просвещения РСФСР

Москва 1959

014210

В конце XVI века из Москвы в Персию (нынешний Иран) отправилось посольство, возглавляемое князем Тюфякиным, чтобы заключить договор о дружбе между Россией и Персией.

Трагична была судьба посольства. В долгом и трудном пути, претерпев множество приключений, погибли почти все посольские люди. До столицы Персии дошло шесть человек. Казалось, не было среди оставшихся в живых ни одного, кто бы мог «справить» посольское дело, говорить с шахом от имени русской державы.

Но стрелец Кузьма Изотов благодаря большому природному уму с достоинством выполнил свой высокий и нелегкий долг. Он не только способствовал укреплению дружбы между Россией и Персией, но и раскрыл глаза шаху Аббасу на заговор, затевавшийся другими державами против этой дружбы.

О трагической судьбе посольства, о злоключениях, которые претерпели посольские люди, и о том, как простой человек из народа взял на себя тяжелую и ответственную миссию и с честью ее выполнил, расскажет эта книга.

В основе повести «Великое посольство» лежат подлинные исторические факты.



1

Престарелый боярин князь Василий Тюфякин совершил еще в царствование Ивана Грозного тяжкий проступок против посольских обычаев. Будучи послом у крымского хана, он не выпил до дна своей чаши за царское здоровье.

Такая вина, хотя бы и невольная, каралась смертью. Но Грозный, благодаря заступничеству митрополита, родича боярина, оказал нежданную и невиданную милость: велел на время заточить князя Тюфякина в тюрьму и отобрать у него вотчины и поместья.

С той поры прошло почти два десятка лет. Усердной службой князь заслужил царское прощение, и теперь, при царе Федоре, из внимания к его славному Рюрикову роду и преклонным годам, правитель Борис Годунов избрал князя Тюфякина послом к другу царскому, персидскому шаху.

— Вот и выпал тебе, князь-боярин, случай выпить до дна свою чашу!—напутствовал его главный дьяк Посольского приказа Василий Щёлкалов, не любивший князей Рюрикова рода. В свое время от него узнал царь, что за

ханским столом остались недопитыми на дне посольской чаши несколько капель вина.

— Ладно уж, — хмуро молвил семидесятишестилетний князь, повернулся и, тяжело опираясь на посох, вышел из приказной палаты.

Около ста московских людей шли в Персию за великим послом князем Тюфякиным, а в товарищах у него состоял шелкаловский дружок дьяк Семен Емельянов. Посольству предстояло вести переговоры о дружбе между Москвой и Персией, о торговых делах и о давнем недруге шаха—турецком султани, который умышлял зло и против Московского государства.

4 мая 1595 года великое посольство выехало из Москвы в сопровождении дворян московских, боярских сынов, церковного причта, толмача, двух десятков стрельцов, нескольких кречетников с соколами и собольщиков с соколами.

Шах был уже оповещен гонцом о скором прибытии московского посольства, и послам был дан строжайший наказ спешить к шахской столице — Казвин-городу.

В трех верстах от кремлевских стен, у Симонова монастыря, великое посольство, напутствуемое правителем Годуновым и митрополитом, расселось по гребным лодкам и отправилось на восток по еще студеной, весенней реке, дымившейся утренней прохладой.

День был праздничный, воскресный. Не успели гребцы мерными взмахами весел разогнать на полный ход свои суда, как над рекой разнесся колокольный звон Ивана Великого. И в лад ему ударили соборные колокола и колокола всех кремлевских церквей и церквушек; а затем в медный перезвон вступили ближние и дальние московские колокола. И тяжкий гуд, все нарастая в силе и включая в себя новые и новые оттенки, от могучих басов до тончайших переливов юного девического голоса, всколыхнул, казалось, самую воду.

Посольские люди привстали со своих мест, повернулись лицом к Москве — зеленый сад в золотых яблоках куполов — и осенили себя широким крестом. Прощай, родимая, белокаменная, не поминай лихом сынов своих!

Через три дня достигли многолюдной, богатой Коломны. Остановились у нового деревянного моста, переброшенного через Москву-реку. Нарядный балдахин княжеской лодки пришелся выше мостового пролета. Коломенский воевода согнал народ разобрать середину моста, и посольский поезд, под пушечную пальбу и приветственные крики коломчан, усеявших городские стены, проследовал в широкую и глубоководную Оку.

Земли вокруг, по обеим сторонам Оки, лежали щедро-родящие, некогда житница московской державы. Долгие войны царя Грозного, жестокая распря между царем и боярами-стародумами, тяжелый боярский гнет, вконец обездоливший крестьян, привели богатые эти земли в разорение. Но жизнь брала свое: то здесь, то там виднелись свежевспаханные поля, чернели ровные гряды огородов. А по левому берегу, по краям прямого, нескончаемого тракта, выстроились в ряд могучие, древние дубы, посаженные, верно, еще при Калите. Шевелит их тяжелую, темную листву молодой весенний ветер, и слышится в их многошумном шелесте величавый рассказ о давних временах, когда слагалась сила державы русской.

Промелькнула Старая Рязань, еще лежавшая в развалинах после крымского, при царе Грозном, набега. Но и тут, среди черного погорелища, желтели светлым золотом свежие срубы, слышался хлопотливый постук топора, переклик рабочего люда.

За Рязанью — Касимов, мирное, сонное обиталище некогда могучих воинов, казанского хана, покорившего Москве. Они стояли на берегу и смотрели на плывущий по реке нарядный посольский поезд. В руках оки

держали громадные, нестрашные теперь луки, у которых царь Иван Грозный крепкой рукой своей поотпустил тетиву, а у стрел пообломил разящие наконечники.

— Отвоевались, видно, — смешливо молвил сидевший на корме сторожевой лодки стрелец Кузьма Изотов. Это был рослый, здоровенный русобородый детина, с лица непригожий, рябоватый, но с живыми темными глазами, говорившими об уме и сметливости.

Раздался громкий гогот. Стрельцы наперебой прокричали что-то веселое и необидное. Но татары молчали, устремив перед собой хмурый взгляд.

— Ишь ты... — как бы жалеючи, добавил тот же Кузьма.

Стрельцы умолкли и отвернулись от берега. Только один, совсем юный, с дерзким взглядом и крылатым разлетом бровей, Ивашка Хромов, поведя рукой в сторону берега, сердито бросил:

— А зачем на нашу землю зарились?

На седьмой день подошли к Мурому. Город стоял на невысоком речном берегу, окруженный каменной стеной, с красивыми башенками по углам. День пришелся ярмарочный, суматошный. Из окрестных деревень понаехали русские и мордвины, навезли всякой снеди, и посольский поезд пополнил свои запасы, оскудевшие в долгом пути.

Люди с позволения князя-боярина разбрелись по городу расправить затекшую силушку, промочить глотку славным муромским травничком. И часу не прошло, как уже двое стрельцов приволокли под руки и положили в лодку своего озорного дружка, красавца с широким разлетом бровей, Ивашку Хромова. Он был не только хмелен, но и побит: подрался с кем-то, да и угодил под крепкие кулаки.

Некоторые посольские люди, из муромских, успели

наведаться к родным. Кузьма Изотов, пригнувшись, переступил порог родительского дома, покинутого полтора десятка лет назад, на заре юности. Он обнял громадными ручищами мать, исхудавшую от горя и забот; поднял к черному, в густой саже, потолку веселую девочку-сестрицу, родившуюся в его отсутствие; постоял над свежей отцовской могилой, тщетно сясь вызвать в памяти живой образ отца, утраченный в долгих и суровых трудах царской службы.

Пришел час расставания. Мать пролила скупую слезу и, утерев концом платка сухой рот, облобызала сына и благословила его на дальнюю дорогу, в чужое, далекое царство, в неведомую Персию.

— Знать, не для себя родила я сынка-то... — сказала она со стоном, когда широкая спина Кузьмы в последний раз мелькнула за поворотом.

2

За Муромом не стало и городов, одни только редкие, сирые деревеньки. На реку легла черная тень от высоких дремучих лесов, стоявших по обе ее стороны. А тут еще повернула погода, подул студеный ветер; то и дело набегали тучи, бил холодный дождь косым, крупным нахлестом; ночами в лесах выли волки и шакалы, тоскливо кричал филин.

Князю-боярину не спалось, он беспокойно ворочался под высоким балдахином, укрывавшим его от непогоды, тяжкие предчувствия одолевали его старую голову.

— Ох, не быть добру, Семен, — говаривал он по утрам дьяку Емельянову, — помяни мое слово!

А дьяк был мужик не старый, в цвете лет, крепкий, из посадских торговых людей, головастый и хитрый. Он весело ухмылялся словам князя и всякий раз отвечал:



— Не грехи, батюшка-князь, не гневи господа. Авось управимся, дело немудрое!

Князь выпрастывал из-под пяти собольих шуб свое немощное тело, выходил, держась за подпорки балдахина, на открытый конец лодки и оглядывал бесприютный край, лежавший вокруг. Затем переводил свои подслеповатые глаза на посольские суда, тянувшиеся впереди лодки и за ней. Оттуда неслись песни, крики, веселый смех. Князь укоризненно качал головой, медленно возвращался под балдахин и залезал под шубы. Челядинец раздувал огонь в ржавом, прохудившемся сандале, побывавшем с князем еще в Казанском, сорок лет тому, походе, и тут только князь на несколько часов засыпал.

Дьяк Емельянов сидел рядом, под слюдяным окошком, доставал из посольских коробьев столпцы и грамоты, читал долгие часы, писал, думал. Иной раз он ве-

дел кликать с соседней лодки подьячего Ондриюшку Дубровского, немолодого, сухонького приказного, в чем-то вразумлял его и вразумлялся сам его немалым приказным опытом. Затем не спеша складывал бумаги обратно в коробки.

Время от времени он украдкой смотрел на сморщенное, старческое лицо спящего. Беззубый рот князя был широко открыт, впалые глазницы темнели. Суший покойник!..

На четырнадцатый день открылся посольским людям Нижний Новгород, высоко стоявший над рекой. Кремлевская стена петляла по зеленым, кудрявым холмам, то взбираясь на кручи, то стремительно сбегая вниз. К стенам лепились людные, в тысячи кровель, посадки, подступавшие к самой воде; а по ту сторону реки вольно раскинулись слободы, также кишевшие хлопотливым, занятым, шумным людом.

По реке мимо посольского поезда сновали лодки, бусы, струги, насады¹. С судов на суда, с судов на берег и обратно, будто легкие камешки, летали с рук на руки многопудовые, тугие мешки, клади, зашитые в рогожи; громадные серебряные рыбины, свежаванные бычьи и свиные туши, связки сыромятных кож, тюки персидского шелка-сырца и всякий иной товар, то ли заготовленный в здешних местах, то ли приплывший с Низу и с Верху, по великому волжскому пути.

— Ишь, дерзкие... — сердито бормотал князь-боярин, стоявший на открытой корме.

Обидно было ему, царскому послу, что никто не обернулся на посольский поезд, гордо, напрямик, с властным окриком пересекавший широкую реку. Хилое, старческое тело князя было упрятано в богатую тяжелую

¹ Бúсы, стру́ги, наса́ды — так назывались в старину речные суда.

шубу, отороченную соболем; на глаза надвинута высокая, соболья же, шапка; редкой седой бородежкой играл вольный речной ветер. Лодку слегка пошатывало волной, поднятой сновавшими вокруг судами, и челядинец бережно поддерживал под руки немощного своего господина.

— Прикажи, Семен, трубачам трубить, да чтоб погромче, да подоле, да пострашнее...

Дьяк, ухмыльнувшись, передал вдоль поезда княжий приказ. И тотчас же звук блеснувших на утреннем ясном солнце труб перекрыл многоголосый шум, стоявший над торговой рекой.

Люди, на миг оторвавшись от дел своих, поглядели, подивились посольскому поезду и, словно бы в досаде на случайную помеху, вновь принялись перебрасывать с рук на руки тяжеленные свои клады.

— Добрая торговлишка, — довольно сказал дьяк, опытным глазом окидывая реку. — Амстердам-городу не уступит...

Князь-боярин хмуро промолчал и, поддерживаемый челядинцем, медленно заковылял в свою келейку, под балдахин: все теплее да покойнее. И тут, не спуская людей на берег, стал он ждать к себе нижегородского воеводу князя-боярина Вяземского, оповещенного перед тем о прибытии царского посольства.

Ждал час, другой, третий, до самых сумерек — и не дождался: воевода прислал сказать, что считает себя родом выше, и потому, дескать, не к лицу ему, Вяземскому, идти на поклон к Тюфякину.

— Избаловался... с купчишками-то! Или нет на него управы царской? — вконец осердился князь и велел снарядить к воеводе подьячего Ондрюшку Дубровского со строгим наказом немедля явиться к царскому великому послу.

Вяземский, не сходя с места, обругал подьячего и приказал было отхлестать батогами. Но подьячий не сро-

бел. Он взял в руки царскую грамоту, обращенную к воеводе, вытянул ее перед собой и стал неторопливо читать, возвышая свой тихий, спокойный голос при упоминании царского имени.

Может, вспомнилась воеводе тяжелая рука Ивана Грозного, от которой и до сего времени побаливали боярские головы; а то, может, успел он образумиться, пока умный приказной медленно читал царскую грамоту. Но только, когда подьячий при очередном упоминании царского имени чуть поднял от грамоты глаза, то увидел, что князь-боярин Вяземский, дородный, краснорожий, стоит перед ним в рост, с видом смиренным и покорным воле государевой.

Подьячий ушел от воеводы, обнадеженный твердым словом отпустить великому посольству всяческие запасы, а также суда со всей оснасткой и опытного вожа — проводника — до Астрахани-города. Но сам воевода к великому послу идти не пожелал.

— Передай своему Тюфякину, — злобно прокричал он вдогон подьячему, — что ему, псу, не только что с Вяземским, а и с тобой, приказной бестией, породой не счесться! Экий рюрикович, через пень-колоду!

Великий посол проглотил обиду — что станешь делать! — и велел дяку отписать о том государю-царю и бить челом, чтобы строптивый воевода был прислан ему, Тюфякину, холопу царскому, головой.

В тот же день люди перебрались на новые суда, и наутро поезд отплыл вниз по реке.

3

От Нижнего до Казани посольство шло без остановки. Под Казанью стояли день. Город находился в семи верстах от берега, людям так и не привелось уви-

деть былую ханскую столицу, не так давно покорившуюся Москве. Только в далеком, туманном мареве показалась им высокая башня Сумбеки, да блеснули кресты новых, православных храмов.

Князь подобрался к слюдяному окошку, сощурил слабые глаза, но ничего не увидел, кроме низкого берега, поросшего осокой. Погрустил об утраченной, давней поре, когда по правую руку юного царя-орленка шел на приступ ханской Казани. Погрустил князь, сокрушенно поохал, да и полез под шубы. Чего уж!..

Волга за Казанью курилась белым дымом, вода у берега затвердела тонким ледком. Дул сырой, холодный ветер, лохматые серо-синие тучи обложили небо, по реке побежали белые гребешки. Ветер был противный, пришлось убрать паруса и сесть за весла.

Старого князя бил озноб под его пятью шубами, люди на лодках приумолкли и теснее сбились под навесами. Даже кречеты нахохлились в своей клетке, и в их маленьких темных глазах проглянула тоска.

Вот тебе и теплые края!

Утром другого дня прошли Тетюши, неприметный городишко на высокой горе: сотня избенок да церквушек, обведенных редким деревянным тыном.

Но Тетюши крепко запомнились: только миновали их, как вдогон, с Верху, от Москвы, повеяло теплом, небо разголубелось. Вновь возвратилась весна, паруса выгнуло крепким, душистым ветром, набежавшим от далеких полей и лесов.

Со всех лодок, словно поговору, рванулась в простор песня и полетела далеко-далече, за самый край безмерных степей, раскинувшихся по обеим сторонам Волги. Пели стрельцы и кречетники, собольщики и челядинцы, гребцы и посольские дворяне, и даже монашеская братия из причта, косясь на княжескую лодку, тихо подпевала им, не разевавая ртов.

А вокруг, как отъехали от Тетюшей, ни дымка, ни жилья, ни человека. Только колышется под ветром некошеное разнотравье, меченное то тут, то там синими огоньками колокольчиков, белыми — поповника да грушанки, лиловыми — кукушкиных слезок.

— Ишь, какая благодать, — вздохнул Куземка Изотов, медленно оглядывая простор. — Великие тут можно завести пашни! И водами, и конским кормом, и рыбой, и птицей, и зверем — всем богата здешняя привольная земля, а лежит впусте...

— Тем и добра, что впусте. — Ивашка Хромов встал с лавки, потянулся, поймал глазами солнечный луч, зажмурился, улыбнулся и шутливо стукнул Куземку по здоровенному загривку. — Эх, дружище, мне бы конька некованого, да лук за спину, да сабельку на бок, да вольную волю, степную недолю! Ан нет, не дано — тани государеву лямку, пока не уложат в ямку!

Кузьма Изотов будто впервые оглядел молодого стрельца:

— А коли в охотку, какая ж помеха? Ныне от царской и боярской узды крестьянский люд без числа в вольные края подается. И верно, невтерпеж стало жить на Руси, всяк обиды терпит от сильного да богатого! Вот исполнишь посольское дело...

— А я, может, нынче удумал... — отозвался Ивашка. — Как придем под Самару...

— Воля твоя, — коротко сказал Кузьма. — А мой совет: прежде посольское дело справить.

Навстречу попадались плывшие от Астрахани бусы и насады, груженные солью, соленой и вяленой рыбой, осетровой икрой, виноградом, индийскими тканями, ногайской кожей, гилянским шелком. Насады были громадные, непомерной длины, с великим грузом и немалым числом людей. Иные шли самоходом — ветром и веслами, иных тянули берегом вагаги бурлаков, с натугой, с по-

криком, с глухой песней, всей силой налегая на лямки и как бы стелясь по земле.

— Чьи-и бу-де-те? — кричали встречным посольские люди, приложив к губам ладони.

— Го-су-да-ре-ва боль-шого двор-ца лю-диш-ки-и!..

— Тро-иц-ко-го мо-нас-ты-ря на Ас-тра-ха-ни лю-диш-ки-и!

— Мос-ков-ско-го гос-тя Пет-ра Ни-ки-ти-на лю-диш-ки-и!

Под Самарой посольские люди, став по левому краю лодок, долго дивились высоченному Цареву кургану, насыпанному среди ровного поля. Со слов вожа узнали, что под тем курганом тысячу лет лежит великий хан татарский, застигнутый смертью в походе на Русь. А натаскали курган на ханскую могилу шеломами да мечами татарские воины, после чего вернулись назад домой, побоявшись идти разорять русскую державу: иступились мечи, прохудились шеломы, вся силушка ушла в землю...

К Самаре подошли в вечерний час. Князь-боярин не велел приставать: того и гляди повернет или ляжет ветер.

Справа на холме, где незримо высился город, дрожали первые огни, словно угольки, вздуваемые ветром. Привет тебе от посольских людей, незнаемый город Самара, вставший крепким стражем на дальнем рубеже Московской земли!

4

А попутный ветер все полнил паруса посольских судов. Мелькали мимо встречные торговые суда, плавающие стрелецкие дозоры, сторожившие реку, рыбаки на утлых, самодельных лодчонках, выбиравшие невод, провисший тяжелым, живым серебром, запоздалые птичьи

стаи. А по берегам ни живой души, ни песни, ни слова. Только колышутся на ветру немые травы да редко-редко промелькнут развалины каменных селений, оставшихся от древних лет, от неведомых народов.

На тридцать четвертый день пришли под Царицын, крохотную крепостцу, огороженную высоким тыном с земляной насыпью.

По насыпи взад-вперед, зорко вглядываясь в даль, мерно вышагивали сторожевые стрельцы. Они — единственные обитатели крепости, поставленной волею Москвы в этих беспокойных местах, где Тихий Дон, круто изогнувшись, едва не достает своими прозрачными водами до Волги.

Под Царицыном заночевали, не сходя на берег. Один только Ондрюшка Дубровский, подьячий, облачившись в новый кафтан и старательно расправив пальцами свалявшуюся бороду, медленно поднялся по каменным ступеням в крепостцу. Здесь он вручил стрелецкому голове в собственные руки государеву грамоту, присланную с великим послом: помни, холоп наш, Овдокимка Ржанов, что на сих дальних землях ты есть зоркий глаз и властная рука державы русской; за нами же, великим государем, служба не пропадет, а коли своруешь и волю нашу государскую преступишь...

— К чему бы это? — стрелецкий голова, тощий, жилистый, востроносый старик, видать, крепкого закала и хитрого ума, прочитав грамоту, сразу побелел лицом и уставился на подьячего мутными, в красных прожилках глазами. — И без того памятую денно и нощно... Ай кто оговорил меня? С чего бы только? Прибытки мои праведные, службишку сполняю...

— Не ведаю и ведать не смею, — отозвался подьячий, повернулся и пошел к дверям. Тут он задержался, выглянул за двери направо, налево и тихо добавил: — Но поскольку ты приходишься родичем жене моей Аннице,

то открою тебе, что сам прослышал. Службишкой твоей правитель Борис Федорович вполне доволен, но весьма на тебя гневен, что из стрелецкого жалованья берешь себе многие деньги и хлебные запасы.

— Это что же? — недоуменно и растерянно пробормотал голова. — За тысячу верст да прознали? Сорока, что ль, на хвосте принесла?

— Зачем сорока, — с достоинством сказал подьячий и даже приосанился. — Москва, она все видит, все слышит, все ведает, ей без того нельзя.

И с тем пошел прочь. На дворе была темень, луна еще не поднялась, только из-за степи показалось красное острие рожка. Подьячего, птицу неважную, никто не провожал. Он с превеликим трудом отыскал ход, ступил на лесенку, задрал, словно баба, полы кафтана и стал медленно спускаться, всякий раз не без опаски ставя ногу на новую ступень.

— Ой! — вскрикнул он вдруг в испуге и обнял подымавшегося навстречу ему человека. — Чей будешь?

Тот сильными руками отвел подьячего и хотел обойти его. Да не тут-то было! Подьячий, забыв страх, быстро взбежал на несколько ступенек и, расставив ноги, загородил собой узкую лесенку.

— Чей, говорю, будешь? Сказывай!

Человек постоял, будто в сомнении, и не без досады назвался:

— Да Ивашка же Хромов, стрелец посольской!

— Ишь, шатун полунощный, — обрадовался подьячий. — А почему с поезда сошел? Батожья, што ль, захотел? Вот кликну сейчас...

— Дружок у меня тут, за тыном...

— Дру-жо-ок? — протянул подьячий. — Ну, коли дружок, так шагай, да возвращайся мигом, да чтоб без глупости...

И подьячий, подобрав полы, бочком двинулся вниз

по лесенке, пропуская стрельца. Они уже разошлись ступеней на десять, когда подьячий вдруг обернулся и крикнул Ивашке:

— А ну ты, Ивашка! Поклянись христом-богом, что правду сказывал!

— Чего ж клятву-то даром класть...

— Вот ты что! Уж не умыслил ли ты, молодец, с государственной службы сбежать? Поворачивай-ка назад! Жив-ва!

Ивашка стал медленно спускаться, подумывая, не ударить ли ему приказного, да почему-то не поднялась рука.

— Ступай, ступай, — приговаривал подьячий, ступая следом за Ивашкой. — Ишь, чего вздумал! — Затем, помолчав, добавил: — Ты, Ивашка, не бойся. Если приметят отлучку — отболтайся: подьячего, мол, к голове провожал...

Наутро, как поплыли от Царицына к Астрахани, на посольских людей — уж не с Каспия ли? — дохнуло сырым, солоноватым широким ветром. Гребцы опять сели на весла, грести стало легко, река, словно учуяв близость моря, час от часу убыстряла свой бег.

Мертвая в горячем струящемся мареве степь впервые после Тетюшей стала оживать. То на дальнем, чуть видном, краю мелькнет и скроется в травах скачущий конь; то откроется взору кочевой городок ногайских кибиток. Раз к самому берегу — а до берега от середины реки добрая верста — подскакали пять ладных всадников на малорослых конях.

— Никак, казаки? — вскинулся Ивашка Хромов.

— Казаки и есть, — отозвался Кузьма. — Вольный народ...

— Э-эх! — словно простонал Ивашка и отвернулся.

И в степи уже не замирала жизнь. Скакали по степному простору коротконогие гривастые кони, медленно,

с диковатым ржанием, ступали по травам стада кобылиц, пасомые старыми ногаями в высоких шапках и вывороченных овчинах; громадные горбатые верблюды, распахивая длинными ногами густые травы, лениво тянули за собой вереницы скрипучих телег, груженных кибитками; на телегах в великой тесноте мостились ногайские мужики, бабы и несметное число детворы. А то представлял посольским людям — диво дивное! — целый кочевой город из многих сотен кибиток. Пылали меж ними в померкшей степи яркие огни кострищ, сновали люди, визжали ребятишки, надрывала сердце печальная зурна, и высокими голосами пели степную песню ногайские девушки.

— Не по-нашему, а живут же, и души, видать, живые... — тихо молвил Куземка, оглядывая полотняный ногайский город.

5

Астрахань открылась с высокого холма в полдень. Утомленным путникам, жаждущим отдыха, белостенный ее кремль с башнями и храмами казался парящим в сказочной голубой выси. Посольские люди невольно залюбовались этим воздушным градом. Даже гребцы, завороченные чудным видением, на миг поотпустили весла.

— Дивное дело, — раздумчиво сказал толмач Афанасий Свиридов, седобородый, полный, видный из себя приказной. Он с юных лет был выучен татарскому и персидскому языкам и в давнее время ходил с государевыми послами в астраханское царство. — Дивное дело: стоял тут от века ханский град басурманский, а ныне, за сорок-то лет — невелик срок, — экая взошла красота русская!

— Дивиться нечему, — строго заметил Ондрей Дуб-

ровский, подъячий. — Москва не крепостью единой крепка, но и перстом преобразующим.

Суда бежали быстро, и с часу на час, от версты к версте парящий в высоте астраханский кремль неприметно для глаз сходил на землю. И вот уже встал он, все в той же своей красе и силе, посреди широкого разлива деревянных слобод и посадов.

Плавню причалив, посольские суда стукнулись бортами о длинное береговое пристанище. Пошатываясь от долгого странствия по водной зыби, люди ступили наконец на твердую и долгожданную астраханскую землю.

Князя-боярина, ослабевшего от хвори и тягот сорокадневного пути, вели под руки двое посольских дворян, а со спины поддерживал старый челядинец, и сам-то с трудом переставлявший ноги.

Город встретил великое посольство пушечной пальбой и громом литавр. По берегу в ровном строю стояла сотня стрельцов, выряженных в новые синие кафтаны, при начищенных до слепящего блеска бердышах¹.

Воевода Василий Бутурлин, рослый, розовощекий, голубоглазый красавец, с лицом приятным и умным, с холеной, словно шелковой, бородой, в кафтане из голубого атласа, наброшенном на плечи и скрепленном золотыми застежками, вышел навстречу государевым послам и сказал положенное приветствие.

Князь-боярин, повисая на руках дворян, в ответ лишь пошевелил бескровными губами. Склонившись к старику, воевода с любезной улыбкой выслушал неслышимое ответное слово и бережно обнял царского посланца. И великое посольство в сопровождении литаврщиков и сотни стрельцов двинулось к кремлевскому холму.

Первый день и последующую ночь посольские люди отдыхали, а наутро, помывшись в бане и приведя в дол-

¹ Б е р д ы ш — широкий топор.



жний порядок свое платье, разбрелись по городу. А и было на что поглазеть московскому люду в славном на весь свет городе Астрахани! Что ни площадь — то базар, крикливый, разноязычный. На все голоса заывают в свои ряды ногайские татары, бритые наголо, с длинными усами, опущенными книзу; жирные армянские купцы в цветных шелках; худые, смуглые евреи; широкоскулые, узкоглазые, темно-румяные калмыки в ярких тюбетейках; важные персияне, восседающие перед своими лавками на высоких подушках, шитых золотом и серебром; высокие, гордые индусы, за тридевять земель привезшие для русских жёнок многоцветные камни, ожерелья, серьги, перстни и прозрачные ткани, легкие как воздух: держи, улетит!

И среди этого шумного, разноязычного торга, среди рядов да лавок спокойно и властно шагает воеводский

приказной с двумя стрельцами и собирает с купцов государеву пошлину. Тут-то и начинается еще больший крик. Иной купец строптивится, спорит, бьет себя в грудь, клянется своим богом, что пошлина ему в разорение, что лучше идти ему по миру, и то больше выгоды станет, что режет его приказной без ножа. Сбегается к лавке народ поглазеть на шумливого купца, а приказному хоть бы что: плати да плати государеву пошлину, на то — закон! Купец еще покричит малость, утрет широким рукавом пот со лба, полезет за пазуху, вытянет большой кошель и заплатит. На то — закон! Да и кричал купец для одного только порядку.

До позднего вечера бродили по торгам посольские люди, дивясь на редкие товары, каких и на московском торге не сыщешь. А когда воротились посольские люди на свой двор, то узнали о беде, случившейся с князем-боярином: смертно занемог и уж соборован посольским попом Никифором. Доживет ли до утра, неведомо...

Но наутро великому послу полегчало. Он пришел в полный разум, призвал к себе воеводу астраханского и держал с ним совет, каким путем быстрее добраться до шахской столицы Казвина-города.

На этот раз воевода был в простом, грубом кафтане, запятнанном белой известкой.

— Уж не взыщи, князюшка, доглядывал кладку. Из Москвы велено каменную стену вокруг кремля возводить, град-то наш порубежный...

— Чего там, — отмахнулся князь-боярин. — Ты мне вот что скажи: посуху нам иль водой к шаху идти? Сидим-рядим с Семеном, так ли, этак ли...

— Я полагаю, — осторожно сказал Бутурлин, — сухим-то путем, хоть и долгонько, а при твоей немощи, князь, пожалуй, легче будет.

— Мне легче не надо, — сердито отозвался князь, — мне надо быстрее.

— А коли быстрее — плыви Каспием до Гилянской пристани персидской, тем путем всегда караваны ходят. Уж купцам ли не знать близкого да верного пути! Я тебе и вожа дам бывалого и суда поставлю. Повремени только, покуда в силу придешь, морем-то плыть — не то что...

— Ладно, — сухо прервал Тюфякин. — Ты как мыслишь, Семен?

Бутурлин, добросердечный человек, неприметно мигнул дьяку, но тот не принял знака.

— Как повелишь, князь-боярин. А я мыслю — плыть нам морем, купеческим, верным путем.

— Так тому и быть, — заключил Тюфякин и отвалился на подушку. — Готовь, Василий, суда, завтра чуть свет и отбудем с господней помощью.

— Воля твоя, а за мной проволоки не будет. — Бутурлин поднялся, ласково коснулся своей белой полной рукой старческой, костлявой руки посла, лежавшей поверх шубы, и, не оглянувшись на дьяка, вышел из покоя.

6

Наутро великий посол поднялся со своего ложа, ступил было на пол, да его повело в сторону. Он побелел лицом и качнулся назад.

— Вот что, Семен, — через силу сказал он склонившемуся к нему дьяку. — Кто там покрепче из людей, пусть тащит меня в лодку, авось в пути полегчает...

— Да что ты, батюшка-князь, разве мыслимое дело!

— Не перечь! — тихо и грозно молвил великий посол. — Не твое, дьячье, дело, то воля государева.

Стрелецкий десятник Василий Жижин привел рослого стрельца и поставил его перед князем.



До позднего вечера бродили по торгам посольские люди, дивясь на редкие товары.

— Вот этот, Куземка Изотов...

Князь-боярин, приглядевшись к Кузьме, доверчиво потянулся к нему.

— Что ж, возмись... да только бережно.

— Не сомневайся. — Кузьма сунул огромные ладони под собольи шубы, поднял великого посла, словно малое дите, и безо всякой натуги понес его к дверям на вытянутых руках.

Суда, похожие на глубокие корыта, стояли высоко над водой, над каждым плескался растянутый вширь парус. Люди рассаживались по судам не без опаски: в этих-то корытах да по бурному морю Хвалынскому!¹

Но корыта быстро и ладно побежали по реке, подгоняемые попутным ветерком. К полудню миновали монастырский учуг², где водилось великое множество рыбы. Отсюда Волга растекалась бесчисленными потоками, наперегонки бегущими к морю. Берега поросли высоким, в рост человека, камышом, из воды выскакивали неведомые звери — тюлени. Глянут на посольских людей черными глазами, поведут редкими, как у кота, усами — и стинут вмиг под водой. Вокруг плавала невиданная доселе птица. Особо приметили посольские люди черного как смоль баклана, схожего с вороной, да гуся-бабу с длинным красным клювом, а под клювом большой кошель, полный мелкой рыбешки.

А как открылось глазам великое море Хвалынское, захватило дух у людей: не приводилось им еще видеть такую необъятную водную ширь. Так вот оно, море-океан, о котором в сказках сказывается да в песнях поется! Белесое, пустое, без волны, и только грозно колыхалось.

— То — закрытое море, глухое, — степенно говорил

¹ Хвалынское море — так в старину называли Каспийское море.

² Учуг — тын поперек реки для ловли рыбы.

Кузьма Изотов сидевшим в кругу стрельцам. — А вот, сказывают, если плыть от Москвы на закат по любой реке, то в недолгом времени доплывешь до моря Варяжского¹. Из того моря, сказывают, путь открыт во все стороны. Да только сидят на берегах того моря вороги и не дают пути русским людям. А было время — и не столь давнее — владела Русь тем морем Варяжским, и плавали по нему русские люди невозбранно...

— А коли владела, — вступился Ивашка Хромов, поведя на Кузьму недобрые глаза с крылатым разлетом бровей, — коли владела, так чего же и не согнать ворога с чужого-то насеста?

— Дай срок, сгоним, — спокойно заключил Кузьма.

Сначала суда держались берега, и люди, устав глядеть на безмерную водную гладь, обратили взоры к лежавшей о бок твердой земле. Но что это была за земля! Без края тянулись белые солончаки, нестерпимо сверкающие на солнце. Неживая, неродящая, мертвая земля! Ни зверя, ни птицы, ни травинки. Редко-редко взлетит малая пичужка, красногрудая, желтоперая, чирикнет как-то не по-родному, не по-нашему, взлетит, сядет и сгинет. И опять пустой, мертвый, сверкающий простор. И нейдет ни песня, ни веселое слово с уст московских людей. Эх, куда занесла служба государева!

А великий посол умирал. Ворожил над ним и читал слово божье поп Никифор, но князь-боярин был уже почти без памяти.

— Тут и схоронишь... на последнем пути... — бормотал он предсмертную свою волю дьяку Емельянову. — Испил я до дна... чашу свою... Так и скажи... смерду злобному... Ваське Щелкалову, худородному...

Дьяка качнуло при этой жестокой хуле на его друж-

¹Варяжское море — так в старину называли Балтийское море.

ка и годуновского любимца. Он сердито нахмурился, но смолчал.

А поп Никифор все читал и читал слово божье, без устали и передышки, будто словом тем отгонял смерть от ложа великого посла. Но не помогли те слова князю-боярину. Он вытянулся вдруг на неудобном своем ложе, глаза его остеклянели и отразили чужое, серое, без про света небо.

— Преставился... — тихо, со слезой, молвил громадный поп Никифор и глянул на дьяка.

— На то воля божья, — спокойно сказал дьяк и закрыл покойнику веки. Затем шагнул к корме и, сложив ладони, крикнул подьячему Дубровскому, сидевшему на носу соседней лодки: — Оповести народишко: князь-де боярин, раб божий Василий, сын Тюфякин, преставился. Ныне за великого посла волей государевой дьяк Посольского приказа Семен, сын Емельянов! Плечь к берегу!

Великое посольство сошло на берег. Челядинцы и стрельцы лопатами подняли твердый солончак, сколотили гроб, уложили в него князя, нетесаное дерево прикрыли двумя собольими шубами.

Причт отслужил панихиду. Поверх могилы вырос холм земли, встал нетесанный деревянный крест. Никто не пролил слезы, кроме старого челядинца, который ходил с князем сорок лет тому назад в казанский и в ливонский походы. Не видел он от боярина ни добра, ни зла, ни привета, ни хулы, средний был человек, а прожита с ним целая жизнь. И заплакал, должно быть, его раб не столько о князе, сколько о своей безрадостной, горькой судьбе.

Дьяк Емельянов с места же отправил в Москву гонца и отписал, что-де князь-боярин Василий Тюфякин от дряхлости своей в трудном пути тяжело захворал и помер. По собственной воле предан он земле в ста вер-

стах от города Астрахани, на пустом берегу моря Хвалынского. И в самом конце той печальной грамоты добавил: «А я, холоп твой, согласно наказа, пойду к шаху и учну посольство править».

7

Не всем был по душе в далекой Персиде предстоящий приезд московского посольства. В злой тревоге ожидал этого события султанский посол Реджеб-ага, с месяц назад прибывший к шаху из турецкой столицы Стамбула. Турецкая держава издавна угнетала и грабила Персию, отторгла от нее земли и города, и потому сближение, а то и союз шаха с сильной московской державой грозил Турции потерей лакомого куска. Шах Аббас уже и сейчас дерзостно разговаривает с ним, султанским послом, а то ли еще будет, когда Аббас твердо уверится в дружбе и поддержке Москвы!

Нет, нет, любой ценой надо остановить в пути московских послов, не допустить их в Казвин! Он, Реджеб-ага, возьмет это на себя. Конечно, Стамбул не благословит его на такое опасное дело, но зато вознаградит в случае удачи.

— Мой дорогой друг, — вкрадчиво говорил Реджеб-ага своему гостю и собеседнику Олпан-беку, одному из приближенных шаха Аббаса, — я не таюсь от вас. Да, я прибыл сюда с доброй целью: предостеречь шахиншаха от коварной дружбы московской. Но ваш повелитель и его слуги не верят мне, они ложно толкуют каждый мой шаг и каждое мое слово. Как же я один, слабый и старый человек, могу помешать союзу шахиншаха с царем... — Реджеб-ага вздохнул. — Вот если бы и ваш высокочтимый брат согласился помочь мне! А уж его величество, мой повелитель, не оставит вас своим благоволением...

Олпан-бек, рослый, красивый персиянин, лет сорока, с умным и дерзким лицом, усмехнулся:

— Если бы мы с братом осмелились посоветовать шахиншаху порвать с Москвой, мы тотчас лишились бы всех его милостей, а заодно с милостями и головы. И на что нам тогда благоволение султана! Нет, Реджеб-ага, не ждите от нас помощи в этом деле. Вы прибыли сюда по султанскому повелению — сами и постарайтесь убедить шахиншаха отказаться от союза с Москвой.

— Убедить шахиншаха... — горько повторил Реджеб-ага. — Уж будто вы и на деле считаете, что шах Аббас может поддаться моим убеждениям, настояниям или даже угрозам!

— А вдруг! — насмешливо отозвался Олпан-бек. — Попробуйте...

— Я уже не раз пытался.

— Попробуйте еще. Известно — капля точит камни!

— Камень... Шах Аббас не простой камень. Он тверд как алмаз.

— Что же, если так, — заключил Олпан-бек вставая, — возвращайтесь обратно в Стамбул!

— Постойте, мой друг, постойте! — Реджеб-ага, не смотря на свою породность, проворно вскочил с места. — Есть же другой выход... Разве нельзя задержать московских послов в пути?

— Задержать московских послов? — будто не веря своим ушам, переспросил Олпан-бек. — Как же вы делаете это, Реджеб-ага, не вызвав гнева шахиншаха?

— Я думаю... если б вы захотели...

— Да разве посмею я, верный пес своего повелителя, преступить его священную волю? — Олпан-бек воздел руки. — Задержать московских послов! Будто это возможно...

— Нет ничего проще! — воскликнул невысокий стройный человек в европейском платье, переступив порог

комнаты. У него было худое, острое лицо, быстрый, пристальный взгляд. — Очень просто, — повторил он. — Все люди смертны, а значит — и московские послы!

— Наконец-то вы явились, сэр Антони! — Реджеб-ага обеими руками схватил руку вошедшего. — Вот и я говорю высокочтимому Олпан-беку...

— Поднять руку на послов, да еще особо угодных шахиншаху! — сказал Олпан-бек. — Кто решится на такое страшное дело!

— Вы, почтенный Олпан-бек... — Сэр Антони положил свою маленькую ладонь на широкое плечо персиянина. — Не играйте с нами в прятки, дорогой мой, не набивайте себе цену! Я вижу, вы торговались с Реджеб-агой, как на майдане, чтобы подороже продать жизнь московских послов. Это понятно: Реджеб-ага скуп и не любит дорого платить даже за головы врагов! Будем говорить откровенно, любезный Олпан-бек. Что вы хотите получить... за отсрочку переговоров между царем и шахом?

— Много, очень много, сэр Антони, — неожиданно ровным, спокойным голосом произнес Олпан-бек. — Ведь я рискую головой. И затем — половину денег вперед.

— Будь по-вашему! — согласился сэр Антони и, обернувшись к турецкому послу, добавил: — Первую половину вносите вы, Реджеб-ага, как более заинтересованная сторона. Я — вторую, по завершении дела. Согласны?



— Что делать... что делать... — хмуро отозвался Реджеб-ага.

Олпан-бек отвел сэра Антони к окну обширного покоя и негромко сказал:

— Ответьте мне на один вопрос, сэр Антони: вам-то какой интерес в этом деле? Отношения с Москвой у вашей страны хорошие, купцы ваши ведут с ней торговлю, никаких серьезных разногласий с Москвой у вас как будто нет. Скорей уж Турция вам враждебна: она хоть и пропускает ваших купцов, но дерет с них громадные пошлины, преграждает вам путь на восток.

— Вы неправы, почтенный Олпан-бек, — возразил сэр Антони — Москва не пропускает наших купцов через свою землю. Она предпочитает сама покупать у вас сырой шелк и продавать его другим странам.

— Но ведь этого мало для того, чтобы...

— Может быть, и мало, почтенный Олпан-бек. — Сэр Антони зло усмехнулся. — Но мне очень хочется оказать вам услугу. Я слышал, ваша казна опять опустела, а вы любите весело пожить...

Олпан-бек отвернулся от англичанина и шагнул на середину покоя.

— Сколько же намерены вы заплатить мне, высокопочтенные? — спросил он нагло. — Ведь я могу заслужить великую милость шаха Аббаса, открыв ему ваш умысел!

— У вас нет доказательств, — спокойно отозвался сэр Антони Ширли. — Итак, перейдем к делу...

На третий день пути взбаламутилось море Хвалынское, загуляли грозы и бури по морю. Вставали и рушились воды, черное небо метало в посольских людей сно-

пы огненных стрел, глушило их яростными громами, поливало тяжелым дождем.

Корытца расшвыривало далеко в стороны, бросало с волны на волну, то вскидывая, то ввергая в крошечную бездну, а то, словно адской каруселью, завивая на водоворотах.

— Гей-гей! — кричали друг другу посольские люди. — Живы ли, здоровы ли?

Гребцы стирали в кровь ладони, сиюсь выровнять свои суденышки, люди, вцепившись одной рукой в борта, другой вычерпывали глиняными кувшинами воду. Три суденышка, опрокинутые волной, вместе с людьми навек скрылись в бездонной пучине. Ивашка Хромов, перемахнув через борт, выловил двух утопающих, схватив их за бороды, затем уже без нужды вновь кинулся в бушующие воды, чтобы подобрать деревянную лопату, вымытую из лодки налетевшей волной.

— От дурень! — сердито сказал Кузьма, принимая из Ивашкиных рук лопату и втягивая его обратно в лодку. — Дурень и есть...

Буря не унималась. На высокой волне подбросило Никифорову лодку, опрокинуло вверх днищем, и посыпались из нее причетники, словно котятa из мешка. Но здоровенные монахи, отъездившие на монастырских хлебах, не польстились на райскую скудную трапезу. Дробя волны взмахами крепких рук, пробились они к своей опрокинутой ладье, перевернули ее, оседлали, уселись по местам, затем прокричали хвалу господа и с новой силой пустились в драку с набегавшими на ладью волнами.

Великий посол Семен Емельянов не то что испугался, а удивился, что вот осмелилось море восстать на столь важное лицо, как на простого смертного человека. Но недолго пришлось великому послу этому диву дивиться. Ондрюшка Дубровский, подьячий, вычерпывая

с людьми набегавшую в ладью воду, поднял на великого посла спокойный свой взор и тихо сказал:

— Чего ж ты?

И великий посол, подобрав полы кафтана и засунув их за тесмяк, шитый золотом и низанный жемчугом, схватил кувшин и давай гнуть да разгибать спину, вперегон с людьми.

... Улеглось наконец море, просветлело небо, выглянуло из-за тучи солнце. Морская гладь пошла пеной, зачертили над гладью проворные чайки, неведомо как сохранившиеся в непогоду.

Великое посольство принялось подсчитывать урон, причиненный бурей. И сколько ни кричали люди в безответную даль, сколько ни вглядывались в притихший морской простор, сколько ни медлили в смутной надежде, что вот-вот да мелькнет недостающая ладья или, может, подаст голос не откликнувшийся на зов человек, но уже стал сгущаться сумрак, повеял попутный ветерок, и пришлось великому посольству пуститься в путь. Не досчиталось оно девятнадцати своих людей: восьми московских дворян и сынов боярских, взятых в Персию для почета, двух кречетников, одного собольщика, одного плотника да семи гребцов.

— Узнай, Ондрей, — сказал великий посол, — кречеты царские целы ли? Не застужены ли? Без кречетов к шаху не подступишься, великий до них охотник!

— Да уж узнал, целы...

По знаку вожа над корытами вздернулись паруса. Их тотчас же круто выгнуло ветром, и посольский поезд поплыл вперед, оставляя за собой длинную вспененную полосу.

На шестой от Астрахани день пристали к Терскому городку, обнесенному высоким дубовым тыном. На валу — грозные пушки московского литья, три дула сторожат воеводские покои. Казаки и стрельцы спят при

саблях, да и пищаль кладут рядом. Тут зевать не положено: чуть вышел за дубовый тын — уж ступил на чужую землю.

Постоял тут посольский поезд день да ночь, раздобыл всякую снедь, люди пообсушились, пообогрелись, принарядились для чужого, взыскательного глаза — и отъехали в чужие края. Прости-прощай, родная сторона!

9

А еще через восемь дней показалось первое чужое селение — город Тарки, столица могущественного в этих местах шамхала¹ Тарковского. Узнав, что проездом прибыло посольство московского царя, ближние люди шамхала приказали поставить на площади большущий котел с вареной осетриной и корыто с горячим маслом. Посольские люди, соскучившись по горячей еде, не отказались от угощения.

На коне подъехал сам шамхал, жирный, свирепый, с рыжей бородой, в шелковом зеленом кафтане, при сабле, луке и стрелах; ветер отпахнул кафтан, и под ним блеснула золотая кольчуга.

Сидя на коне, шамхал едва приметным кивком поклонился дьяку Емельянову и спросил его, согласно обычаю, о царском здоровье.

Великий посол на поклон не ответил, хмуро оглядел шамхала, отвернулся, запустил в котел деревянную палочку, выловил кусок рыбы, обмакнул в масло и отправил в рот. Шамхал что-то гневно прокричал на своем языке, окружавшие его конники сердито забормотали и взялись за рукоятки сабель.

А великий посол снова полез в котел, за вторым

¹ Ш а м х а л — местный царек.

куском, обмакнул его в масле и не спеша прожевал. Затем, утерев рот, обратился к стоявшему рядом толмачу Свиридову:

— Скажи, Афанасий, шамхалу, да построже, что не положено спрашивать о царском здоровье, сидя на коне. Будь он хоть сам шах персидский или султан турецкий, и то должен сойти с коня и выслушать ответную речь, стоя перед великим послом. А как он не шах и не султан, то пусть и шапку с головы скинет. Авось его не убудет. Так-то! А за рыбку, скажи, благодарствую...

Выслушав толмача, шамхал заулыбался, соскочил с коня, подошел к дьяку и дружески положил ему на плечо свою руку. Но не тут-то было: дьяк отступил на шаг и стал против шамхала, строго глядя ему в глаза.

— Скажи ему, Афанасий, что по нашему обычаю всякий посол своего государя образ носит и обходиться с послом должно как с самим государем.

Шамхал разозлился, видать, не на шутку, толстая его шея набрякла кровью. И неведомо, чем завершилась бы эта распря, если бы к шамхалу не подковылял на кривых ногах ближний его человек, старый татарин с белой бородой до колен, и не прошептал ему что-то на ухо.

Шамхал снова заулыбался, стянул с себя шапку и вежливо спросил Емельянова: в добром ли здоровье, отъезжая из Москвы, оставил великий посол своего повелителя, государя-царя всея Руси Федора Ивановича?

Дьяк Емельянов ласково склонился перед шамхалом в неглубоком поклоне и молвил в ответ согласно наказу:

— Как мы поехали от великого государя-царя Федора Ивановича, самодержца всея Руси, великий государь наш, его царское величество, на своих преславных и великих государствах российского царствия, дал бог в добром здравии!

Проговорив одним духом, дьяк мигнул посольскому

дворянину, тот вышел вперед и на вытянутых руках подал шамхалу царские подарки — два сорока соболей.

Шамхал опытным глазом заправского купца оглядел соболя, встряхнул, вытянул перед собой, дунул на волос и, похоже, остался доволен.

— Известно мне, что на судах своих везете вы кречетов...

— Истинная правда, — отвечал дьяк. — Тех царских кречетов везем мы в персидские земли, другу и брату нашего государя-царя, его шах-Аббасову величеству.

А шамхалу дружба царя московского с шахом — что нож острый: обоим был он соседом, равно опасался обоих, и толком не знал, кому же из них поклониться, а перед кем нос задрать.

— Чего же ради идете к шаху-то?

Великий посол глубоко вздохнул.

— Хоть и не должен я про то говорить, — молвил он, помедлив, — да по дружбе скажу: единственно ради царских поминков¹ шаху и для укрепления вечной дружбы и союза.

— А чего ради государь ваш гонит в Терский городок несметную силу воинов и, сказывают, обносить его каменной стеной собрался? Я ли ему не друг?

— Про то мне неизвестно, — сухо сказал дьяк. — А если тебе и не соврали, так ведь на своей-то земле всякий себе хозяин. Я же тебя не спрашиваю, чего ради ты у Терского городка немалую ратную силу держишь да в прошлом месяце еще тысячу конных пригнал. Твоя земля — твоя воля!

Снова разозлился шамхал, выкатил на дьяка глаза, шагнул к нему, сунул себе за ворот палец, перевел дыхание и рывкнул:

— Да я тебя...

И снова подковылял к нему седобородый старик-та-

¹ Поминки — подарки.

тарин, схватил за руку, подтянулся к шамхалову уху и быстро-быстро залопотал по-своему.

— Грамоту царскую ко мне имеешь ли? — враз осекшись, обратился к великому послу шамхал.

— Грамоты не имею, а только как отъезжал я из Москвы, то изволил государь-царь наказать мне: если приведется тебе, Семен, у шамхала быть, скажи ему мое слово царское: не садиться бы ему, шамхалу, под чужой забор, пусть бы хоть в крапивку, да под свой!

Старый, бывалый толмач Афанасий Свиридов помедлил, подумал, важно огладил бороду и чуть переиначил дерзкую Емельянову речь: гнул бы шамхал дерево по себе, по своей силушке, крепко помня, что на каждого его, шамхалова, воина Москва может выставить в поле десять, а по нужде и сто добрых воинов.

— Я что ж, я всегда рад московскому царю служить...

— А коли так, — заключил дьяк, — то и спорить нам нечего. Шли на Москву посла, чтобы просил государевой милости, и будет тебе благо. А меня отпусти с честью к его шах-Аббасову величеству посольство править и прикажи своим людям дать мне корма до самого Гиляна.

Дьяк с достоинством поклонился шамхалу.

С тем и пошли посольские люди на свои суда.

Шамхал от себя прислал великому посольству двенадцать быков жареных, восемнадцать овец, шесть мешков муки, пуд меду и всякой иной снеди; а подарки для государя-царя обещался доставить со своим послом, которого, велел сказать, немедля и снарядит в Москву.

Когда подошли к Дербенту, посольские люди увидели странные бело-голубые облака. К вечеру облака потемнели, подернулись сиреневым цветом: то выси-

лись Кавказские горы. Люди не хотели верить вожу, что это твердая земля, но тот поклялся в том, господом-богом. А потом горы подступили к самому берегу, и посольские люди увидели зеленую поросль, покрывавшую склоны гор, а еще выше ледяную шапку, ярко блиставшую на солнце.

— Уж не край ли это света? — с тревогой молвил Ивашка Хромов. — Далее небось ничего и нету...

— Как так нету? — отозвался Кузьма. — За теми горами, рассказывают, крещенные люди живут, нашей веры. Они Москве-матушке челом бьют. Нет им житья от басурманов, вот и тянутся к московскому царству.

— А не врешь? — спросил Ивашка глаза на дружка. — Через этакie горы человеку и пути нет...

— И-и, — протянул Кузьма, — человек-то по нужде где хочешь пройдет.

Город Дербент привалился к склону громадной горы. Он был окружен широкой стеной, выведенной на скалах. По ней свободно могли проехать бок о бок две телеги, запряженные волами. Между берегом и горой причудливо раскинулось множество каменных гробниц, разрушенных временем. Высоко в расщелинах горы повисли над городом маленькие крепостцы да сторожевые посты.

— Стоит сей град Дербент, а по-иному Железные врата, с самого начала света, — сказал вож, и слова его вмиг облетели весь поезд. — И кто сим градом владеет, тот владыка и земли здешней, потому тут единый ход, и другого хода нету. Через те врата ходила на Русь татарская сила Батыева и всякие иные нехристи. А ныне сим градом владеет султан турецкий, да не то чтобы крепко: далеконокко ему и без надобности. Зарится на него и шамхал, да силушки мало, хоть и близко...

Ивашка быстрым, горячим взглядом оглядел город из конца в конец.

— Да где ж они, врата-то железные? И не видать...

— Дурень ты, Ивашка, — отозвался Кузьма. — Понимать надо: одно название, что железные врата. Глянька: если стать, хотя бы и малой ратью, между горой и морем — тут сажень сто, не более, — так никакая сила не пройдет. А иного пути тут нету — горы мешают. Потому и зовется этот проход: врата!

— И впрямь так!.. — обрадованно воскликнул Ивашка.

За Дербентом посольские суда в обход мелей ушли далеко от берега. В небе стоял золотой месяц, бросив на воду длинную, сверкающую дорогу. Море было спокойно и суда только чуть покачивало на ясной глади. Ничто не предвещало бури. Но опытный вож на исходе ночи стал тревожно всматриваться в даль, откуда возникли на небе первые облака. Он запрокидывал лицо, словно испытывал поднимавшийся предутренний ветер.

Плыть к берегу было нельзя: буря могла разбить суда о прибрежные скалы или выбросить их на мель. Пришлось опять встретить бурю грудью. Но на этот раз не удалось ей осилить посольских людей. Хоть изрядно кидало бусы на волнах, но урона ни в людях, ни в судах не было, разве что наглотались соленой воды.

На долгом пути до Гиляна пристали только раз у маленького персидского городка Ниазабада, где посольство с почетом было встречено воеводой местного хана. По бедности своей воевода ничем не смог угостить усталых путников и только выставил им в убогих своих хоромах большой котел с постной похлебкой.

— Стада, — говорил он, — в прошлом месяце у нас от мора пали, а рыба в наши воды не заплывает, потому что воды наши смолой и дегтем порчены.

И верно, как плыли посольские люди к берегу, то немало дивились черной-пречерной воде, и отзывала она не то смолой, не то дегтем. Местами и на земле видне-

лись черные пятна дегтя. Горел костер. Но до костров ли было посольским людям, коли солнце тут пекло в тройную, против московской, силу?

В городке постояли день да ночь, а затем великий посол приказал идти далее, на Гилян, без остановки, чтобы прибыть туда не позднее, как на сороковой от Астрахани день.

— А везде ли на персидской земле такая скудность? — не без тревоги спросил вожа поп Никифор, отошавший в трудном пути по Хвалынскому морю. — Причт-то мой совсем с тела спал...

— Эх-ма! — Вож даже присвистнул. — Да там хоть на камне сей — и то уродится! А всякой живности — без краю-конца. Взойдет твой причт на шаховых хлебах, как опара.

Прослышав о словах вожа, не раз ходившего в персидские земли, повеселели посольские люди: шесть-то дней до Гиляна можно и на сухомыти побыть, раз текут там в кисельных берегах молочные реки!

11

Все сбылось, как сказал вож: подойдя на корытцах к Гилян устья реки Лангеруд, посольские люди, и верно, увидели суший рай. Благодатное, горячее солнце осеняло золотыми лучами ярко-зеленые просторы полей; густые рощи были затенены вечнозеленой листвою; сверкающие, алмазные ручейки вприпрыжку сбегали с невысоких холмов; увидели приветные веселые домики, стада раскормленных быков и коров, невиданных цветов домашнюю птицу. Словно бы и не земля, а крытый яствами стол!

Саженья в десяти от причала приказал великий посол стрельцам палить из пищалей: знайте, господа персияне,

едет к вам великое посольство царское! А персияне, долго извещенные о том царским гонцом, давно ожидали гостей.

На берегу в богатом наряде появился гилианский воевода со своими слугами и выслал навстречу посольству украшенную шелками лодку. По знаку посла гребцы легли на весла — раз-раз! И посольский поезд стал у причала.

Когда дьяк Емельянов шел со своими людьми от пристани к шатру воеводы, раскинутому недалеко от берега, воздух сотрясаясь от звона литавр, бубен и на-каров. Перед послом, на коврике-дорожке, проложенной до шатра, уморительно выплясывала обезьяна, одетая в панцирь, шлем и со щитом. Великий посол хоть и сробел, но виду не показал и шел напрямиком на обезьяну. А она отступала перед ним, как бы завлекая гостя в шатер воеводы.

Из шатра быстрым шагом шел воевода, молодой смуглолицый персиянин в цветастом халате. Он, смеясь, оттолкнул обезьяну и приветствовал дьяка, склонив голову в зеленой шапке и ударив себя по сердцу левой рукой, крашенной желтой охрой.

— Повергаюсь к стопам твоим, зрак очей моих отдаю, чтобы он послужил тропкой для ног твоих! — любезно сказал воевода. — Удостой, царский посланец, мой дом своим присутствием!

Дьяк не остался в долгу. Хоть и не столь цветисто, он отвечал, что ни во что не ставит претерпенные в пути великие беды, раз этот путь привел его под сень многочтимого воеводы достославного хана гилианского, верного слуги его шах-Аббасова величества.

— Истинно справедлив ты, гость мой, в слове своем! — воскликнул воевода. — Мой достославный господин, и верно, преданнейший друг шахиншаха Аббаса, солнца вселенной!



Когда дьяк Емельяцов шел к шатру воеводы, воздух сотрясаясь
от звона литавр, бубен и накаргов.

Дьяк неприметно скосил глаза на многоопытного толмача Свиридова.

— Слышь, — шепнул толмач, — не слугой, а другом шаха Аббаса величает хана-то своего...

— Что ж! По его друг, а по-нашему слуга. Если между ними раздор, мы станем шахову сторону держать. Нам надобно, чтобы сильной да согласной Персия была.

В шатре воевода щедро потчевал великого посла, подьячего и толмача всякими яствами, а остальные посольские люди потчеваны были на берегу и не менее щедро. Все сбылось по слову вожа: на тридцать седьмом блюде сложил руки и заскучал поп Никифор, а за ним один за другим и все его причетники.

Памятуя строгий наказ великого посла и сами блюдя свою честь, посольские люди по окончании трапезы находились в полном разуме и твердой памяти. Разве только один Ивашка Хромов, повеселев сверх меры, в чем-то вразумлял своего соседа персиянина и тыкал его пальцем в лоб. Но персиянин был не в обиде, весело посмеивался, поэтому Кузьма Изотов, махнув рукой, не стал присматривать за дружкой своим: авось поладят!

Еще шел пир, когда к шатру подъехал всадник, конь которого был покрыт длинной, до земли, полоной, расшитой голубой бирюзой. Всадник ладно соскочил с коня и быстрым глазом оглядел пирующих. Признав по одежде царского посла, он почтительно склонил перед ним голову и ударил себя в грудь левой рукой.

Это был михмандр — пристав, присланный ханом гилянским для сопровождения царского посольства: персиянин средних лет, худощавый, остролицый, с ястребиным носом, горячими глазами, быстрой речью.

— Повергаюсь к стопам твоим, — молвил он еще на ходу, устремляясь к великому послу, — зрак очей моих отдаю, чтобы послужил он тропкой для ног твоих!

И еще много любезных слов сказал михмандр, а под конец просил великого посла пожаловать в гости к хану гилянскому в город Решт.

Великий посол отказался от этой чести, сославшись на недосуг: Москва наказала ему, Семену Емельянову, без остановки следовать к столице шах-Аббасова величества.

— А раз уж прислал тебя твой хан ко мне в помощь, то изволь снарядить наутро должное число оседланных коней, повозок для клади да изрядного корму, чтобы идти нам без проволоки в дальний путь, в Казвин-город, к государю хана твоего его шах-Аббасову величеству...

Но михмандр и воевода в два голоса снова стали говорить любезные слова, а потом склонились перед великим послом до земли.

— Мой повелитель, хан гилянский, ожидает тебя в Реште, — сказал михмандр, — чтобы сказать тебе золотое слово, прежде чем предстанешь ты пред светлые очи шахиншаха, солнца вселенной! Неизреченна мудрость моего повелителя, несчетна его казна, отважно воинство его доброе...

Емельянов еще в Москве, от Василия Щелкалова узнал о дурных умыслах гилянского хана против шаха Аббаса. Он сердито нахмурился и громко, на весь шатер, сказал:

— Где же это видано, чтобы посол прежде государя заходил к его слуге? Может, и мудр, и богат, и воинской ратью силен твой хан, но известно мне, что его шах-Аббасову величеству он не более как слуга со всей казной и всем воинством своим! За честь благодарствую, а гостевать, уволь, не смею!

— Горе мне! — воскликнул михмандр.

— Горе мне! — вслед за ним сказал воевода.

Дьяк встал, за ним поднялись подьячий и толмач.

— За то обещаю тебе, — дьяк зло поглядел на мих-

мандра, — как приду в Казвин-город, в тот же час сообщу его шах-Аббасову величеству, что слуга его, хан гилянский, золотое слово сулил царскому послу прежде шаховых слов...

И с тем покинул шатер.

Наутро великое посольство уже ждали семь десятков одной масти красавцев коней, покрытых яркоцветными попонами, повозки, груженные посольской кладью и запряженные волами; на каждой повозке сидел погонщик, подобрав под себя ноги и зажав в руке длинное кнутовище.

Великому послу сам михмандр, смиренно склонясь, подвел коня. На гладкой черной шерсти коня, будто в темной воде, играл солнечный луч; шея круто изогнута; ноги крепкой и тонкой кости.

Михмандр кивнул конюху, стоявшему наготове. Тот взмахнул попоной, изловчился и мигом накрыл ею конскую спину. И словно бы на грудь сокровищ упал незначай солнечный луч — так заиграла шитая золотом попона, так засверкали на ней драгоценные камни.

Дьяк занес ногу в стремя, ладно вскочил в подвернутое конюхом седло, осенил себя крестом и тронул коня.

Посольский поезд двинулся по дороге, вздымая легкую пыль. Михмандр ехал по правую, толмач Свиридов по левую руку посла. Впереди поезда скакали стрельцы в новых малиновых кафтанах, держа в руках начищенные бердыши, горевшие на солнце, стоявшем посреди синего, как синька, персидского неба. По обеим сторонам дороги высились деревья в два обхвата, обвитые диким виноградом; на их кустах прыгали и кричали странными голосами разноцветные пичуги; словно отды-

хающие верблюды, стояли, переливаясь радугой, невысокие горы.

— Далече ли отсюда турецкого султана земли? — обернувшись к михмандру, спросил дьяк.

— О-о! Далеко! Вон видишь дальние горы? Еще столько да еще много раз столько же. Десять коней загонишь, одиннадцатый ступит на султанову землю!

— Ишь, ты... Знать, много у султана коней, раз нет от него покоя земле шаховой.

— Много-то много, а только на нашу гилянскую землю отроду не ступали султановы кони.

— Не ступали, говоришь? — дьяк хмуро посмотрел на михмандра. — Так непременно ступят, если будет твой хан идти наперекор его шах-Аббасову величеству. Султану только того и надобно...

— О царский посланец, не говори так! — испуганно воскликнул михмандр. — Господин мой — преданнейший слуга шахиншаха, ковер у его подножия, дамаский кинжал в его руке, разящий врагов!

— Говоришь складно, — строго сказал дьяк, — вот и наводил бы на это своего господина. Один прут сломить — каждому под силу, а сложи прутья вместе — руки обломишь.

— О! — восторженно воскликнул михмандр и даже привстал на стременах. — Словно ты подслушал мудрое слово моего господина! Ибо так говорит господин мой, хан гилянский, покорный раб шахиншаха, солнца вселенной!

— Раб лукавый... — вставил дьяк.

— Верный раб! И молю тебя, царский посол, — михмандр склонил голову, — как предстанешь пред светлые очи шахиншаха, молви ему, солнцу вселенной: нет у него раба вернее господина моего, хана гилянского.

— Да уж всю правду скажу...

Ветер падал, жар прибывал, воздух, нагретый полу-

денным солнцем, зримо струился и переливался. Люди томились в теплых московских кафтанах, но ни один из них не отстегнул кафтанного кляпыша, не скинул шапки, хотя пот струился с лица и мешал зрению. И так же прямо неслись по дороге высокие стрелецкие бердыши, зажатые в крепких и верных руках.

— Ох, и пышет же, что из печи... — тихо и жалобно молвил Ивашка Хромов, скакавший в хвосте стрелецкого отряда, конь о конь с Кузьмой, впереди великого посла. — Вот уж когда на водицу променял бы красу девицу... — добавил он невесело, стирая с лица соленый пот.

— Терпи, — отозвался Кузьма. — Авось и привал недалече.

Дорога пошла пашнями. В рост человека стояла золотая пшеница, блистали под солнцем рисовые поля; а то, будто снег, на закате без краю-конца стелилась розовато-белая скатерть хлопка. Вдоль дороги мелькали небольшие деревеньки, два — три десятка изб чужого, нерусского, строя, плоские крыши были настланы дерном, на крышах вразвалку лежали детишки.

— Глянь, Ивашка, — сказал Кузьма, — кому жаркая печь, а кому красное солнышко!

На деревенских площадях по кругу ходили волы и лошади, молотя просо; бродили, тыкаясь мордами в лужи, громадные буйволы; гордо закинув маленькие головы, лежали косматые, грязные верблюды; около хижин, то взлетая, то садясь на землю, тосковали на привязи охотничьи соколы и орлы.

— И велика же земля божья, — раздумчиво проговорил Кузьма. — И всяк на той земле по-своему трудится, по-своему хлебушко ест...

А жар все прибывал. Белый раскаленный круг солнца, казалось, навсегда застрял над головами путников.

— Экая напасть! — проворчал Ивашка и, оглянувшись на скачущего позади великого посла, стал подбираться к верхнему кляпышу кафтана, отстегнул и повел рукой книзу, к следующему кляпышу.

— Ух ты, мать честная! — счастливо вздохнул он, когда встречным потоком воздуха охледило ему шею и грудь.

— Эй, Ивашка! — Кузьма, осердясь, чуть подался плечом к Ивашке и в самое его ухо: — Не озоруй! Люди терпят, и ты терпи! Ишь, рассупонился, что мужик на печи! Ну же!..

Ивашка хмуро свел крылатые брови и стал нехотя вправлять кляпыши обратно в петли.

— Не дома, — добавил, смягчившись, Кузьма, — чужой-то глаз зорек, всякое лыко в строку ставит...

Путь шел зелеными кудрявыми виноградными полями. Но странное дело: не видать было на тех полях ни живой души, деревеньки казались пустыми, безлюдными, в домишках настезь были распахнуты двери, сиротливо глядели черные дыры окон. На улицах и площадях ни скотины, ни птицы, опустевшее, мертвое царство. И так на долгие, долгие версты.

Дьяк глядел, дивился, да и повернулся к толмачу:

— Спроси, Афанасий: что это значит?

Михмандр помолчал, помялся, словно бы думал соврать, да под взглядом строгих, пытливых Емельяновых глаз нехотя молвил:

— В прошлом году великий мор посетил сии места...

— А много ли от того мора народу померло?

— Не так, чтобы много. Стоит наше ханство в той же силе, что стояло от века...

— Сказывает, много, — перевел по-своему толмач хитрую речь михмандра.

Кузьма толкнул локтем Ивашку:

— Слышь, Ивашка? Вот тебе и божий рай! И тут на-

родишко страждет и не по времени мрет... А злак-то виноградный тянется себе к солнышку, и некому ту веселую жатву пожаты! Эхма!

Солнце пошло на закат, утомленные кони недовольно всхрапывали. Посольский поезд, миновав нескончаемые полевые просторы, втянулся в горную теснину, поросшую лесом.

Великий посол, заметив приветную полянку на берегу быстрой речки, сбегавшей с горы, приказал спешиться и заночевать.

— Нехорошее, злое место, — покачал головой михмандр, — к ночи ляжет туман, от того туману приходит человеку немочь.

— Ладно уж. — Великий посол соскочил с коня. — Чем пужать вздумал, туманом...

— Ой, царский посланец, застудишь людей, а мне за них ответ держать!

— Зажжем костры — не застудимся.

Накормив и напоив коней, люди набрали хворосту и веток, запалили костры, поели да и улеглись спать, кто на чем горазд. Только великий посол и ближние его люди почивали на мягких, верблюжьей шерсти, кошмах, припасенных михмандром.

Большая луна бродила по лагерю, покрывая мертвой жемчужной белизной лица спящих вповалку людей.

Великий посол проснулся еще до рассвета и строгим оком оглядел свой лагерь, в беспорядке раскинувшийся на сырой горной полянке, подернутой предутренним ядовитым туманом. Люди беспокойно ворочались во сне от налетевшей в несметном множестве мошкары, слышались стоны и вздохи; иные, пробудившись, били себя по рукам, по лицу и зло поругивались. Да и сам посол не успевал отгонять от себя мошкору, пока не изловчился выхватить из догоравшего костра головешку и не закрутил ею вокруг.

Месяц скрылся за высокой стеной гор, звезды поблекли, стало светло как днем. Дьяк широко зевнул, перекрестил рот и привычным движением пальцев расправил свалявшуюся за ночь бороду.

— Эй-эй, трубачи, труби поход!

Еще не запели трубы, а уж вся поляна на голос великого посла ожила, зашевелилась, задвигалась, закричала, закашлялась, зачихала, загремела всякой утварью, зазвенела оружием. Но через мгновение чистый и сильный голос труб перекрыл все звуки и развеял остатки сна у посольских людей. Даже застоявшиеся кони подняли понурые головы. И вскоре посольский поезд, вытянувшись в прежний порядок, мелкой рысцой пустился в путь по узкой горной дороге.

13

Горами шли целый день. Жар отпустил, кони легко ступали по горной тропе.

Ночевку устроили на этот раз на высоком месте. не мучила мошкара, не студил предусмотренный едкий туман. А как поднялось солнце, с вершины горы открылась людям вся красота персидской земли.

По бескрайней долине, под чистым, без облака, бирюзовым небом, многоцветным, чересполосным ковром лежали пашни, то золотые, то пурпурные, то лазоревые, то бело-розовые; крохотные, светлые мазанки, что ульи, то нули в густых, темной зелени, фруктовых садах; по холмам, словно в дозоре, стояли одинокие деревья, величаво покачивая раскинутыми ветвями. Работа тут начиналась раным-рано: уже сейчас гроыхали деревенские кузнецы, ладили свой гулкий труд котельщики, постукивали топорами плотники; ревела на разные голоса скотина, плакалась зурна, сплетаясь с чужой, диковатой песней.

— Ведь что за край... — тоскливо и тихо молвил Куземка, припомнив муромские сирые доли, холодное в эту пору солнце, темные, черные по осени пашни, серое небо, старую одинокую мать, склоненную над размытым дождями топким огородом.

— Знать, тут к господу богу ближе... — так же тихо, будто в храме, отозвался Ивашка. — Не иначе...

Неожиданно, перекрывая все шумы, донесся до посольских людей истощный человеческий вой.

Афанасий Свиридов, сердобольная душа, жалостливо сморщился и повернулся к михмандру.

— Должно быть, казнь вершат, — пояснил михмандр прислушиваясь. — Кожу сдирают...

— Это за что же?

— Может, за дерзкое слово против хана, а то, может, кто пятины в ханову казну не внес. Всякое бывает.

Кузьма, зло усмехнувшись, сильной рукой толкнул Ивашку:

— Пошли коней седлать!

Из гор выехали к полудню, крутым спуском. Кони ступали с опаской, приседая на задние ноги, из-под копыт сыпался камень.

У подножия горы перед посольскими людьми неожиданно возник глинобитный, желтый городок, весь перегороженный глухими пересохшими стенами. Лишь только первые стрелецкие кони ступили на окраину, как из-за угла навстречу им показался отряд всадников, а за всадниками толпа горожан, ожесточенно бивших в литавры и накары.

По знаку великого посла трубачи подняли трубы и ответили на привет. Приблизившись к посольскому поезду, всадники на ходу повернули коней, тотчас же повернулись и горожане и двинулись по улицам, продолжая бить в литавры и накары и оглашая воздух громкими несогласными криками. Взметнулась мягкая



Когда посольские люди выехали на площадь, там уже было
полно народу.

серая пыль, по шиколотку покрывавшая землю, и окутала посольский поезд душным, горячим облаком. Люди задохнулись, закашляли.

— Ей-ей, Ивашка, а наша-то земляца... п-чхи!... все поближе к господу будет!

— Верно, что так... — Ивашка с трудом разомкнул пересохшие губы и повел мохнатой от пыли бровью.

Когда выехали на площадь, там уже было полно народу, сбжавшегося со всего города на бой литавр.

Из-за стен, через калитки и бреши, высыпала полуголая чернокудрая детвора: появились на улицах молодые персиянки, древние старцы на ишаках сновали по площади, шуря на московских людей подслеповатые глаза.

— Семен, ай Семен, прикажи выбираться в поле, — шепнул толмач великому послу, — а то людям не под силу больше...

— Нельзя, в обиду станет.

Воевода в голове отряда молодых воинов подскакал к дьяку и выкрикнул короткий привет.

— Да хранит аллах твое здоровье! — перетолмачил Афанасий Свиридов, покачал головой и добавил с ласковой усмешкой: — Ишь ты, какой молодец, а ничего более не придумал...

Дьяк открыл было рот для столь же короткого ответа, но тут михмандр, сжав коню бока, стремительно подался вперед и стал быстро и сердито что-то говорить воеводе на своем языке. Воевода слушал с почтением, но без страха; а затем вдруг рывкнул ему что-то в ответ, словно пальнул из ружья, вздыбил коня, резко повернул его на задних ногах, взмахнул рукой и поскакал прочь, увлекая за собой воинов.

Стоявшая сомкнутым кругом толпа испуганно шарахнулась в стороны.

Афанасий Свиридов разъяснил дьяку, в чем не поладили между собой воевода и михмандр:

— Корил его михмандр: позор, говорит, накликал ты на нашего господина, гилянского хана. Явится, мол, царский посланец к шахиншаху, нажалуется ему, надсмеется: вот, мол, какие дурни хану гилянскому служат, добрых обычаев не ведают, красных слов гостю сказать не могут...

— А тот?

— А тот, озлившись, крикнул: я, мол, с ханом вместе шахиншаху служу. А его Аббасову величеству потребны не одни только болтуны, вроде тебя, а и добрые воины против недругов турков...

— Славно! — заключил дьяк, повернулся к михмандру и ласковым голосом спросил: — Как имя этому доброму воину?

— Али Гуссейн, сын ослицы и мула!

— Запиши, Ондрей: Али Гуссейн, добрый воин, верный слуга шах-Аббасова величества. Как приедем в Казвин-город, напomini просить ему награду за приветную встречу. А ты, Афанасий, скажи приставу, чтобы не смел он чинить этому Али Гуссейну какого зла...

14

Выбравшись из городка, посольский поезд в скором времени подошел к чистой, быстроводной речке, сбегавшей с гор.

— Семен, ай Семен, — потянул великого посла за рукав подьячий Ондрей Дубровский. — Указал бы людям искупаться...

— Еще чего! И без того проволока немалая вышла.

— Притомились в этакое пекле, да и пылица непомерная.

— Не встречай, знай свой шесток. В Лангеруд придем, искупаются.

— Блюсти себя людям надобно, — нудил подьячий, — глаз-то чужой, к дурному приметливый. Каковы в Лангеруд-то город придут? Черта черней! Укажи, Семен...

— Ведь вот присосался, пиявка!

— А и верно, — ласковым голосом вступился толмач Афанасий Свиридов, сердобольная душа, — чего людей зря томить? Да и нам с тобой, Семен, не грех водицей речной сполоснуться!

— Ладно уж, — хмуро согласился дьяк. — Да чтоб мигом.

Люди прытко соскочили с коней, сбросили с себя докучную одежду и с разбегу кинулись в речку. Неожиданный холод ожег кожу, перехватил дух, судорогой свел тело.

— Ух ты... дьявол! — Ивашка обомлел, лякнул зубами и стал барахтаться в воде, чтобы согреться. Но толку от того не было, холод схватил за самое сердце, у Ивашки не стало дыхания, и он из последней силы рванулся к берегу.

А на берегу, будто на горячих углях, трясся мокрыми бородами, скакали и прыгали нагие дворяне, боярские сыны, стрельцы, кречетники, собольщики, причетники, челядинцы, да и сам великий посол в чем мать родила попрыгивал в сторонке и злыми словами ругал подьячего:

— Недоросток! Кошей! Ехидна! Сам-то небось одни ступни замочил... людей ему соблюсти... пекло... пылица... советчик какой выискался...

Тучного, белотелого, холеного толмача Свиридова била крупная дрожь, но по летам припрыгивать да прискикивать было ему неспособно. Неверными руками натягивая на себя рубаху, он запинаясь приговаривал, чтобы отвести от подьячего гнев великого посла.

— Эх, и славно же... спо... сполоснулись... даже в мыслях про-прояснение... а двое, глянь-ка, еще по... полощатся... кто бы такие?

— Так то Куземка-стрелец да Никифор-поп! Вот бедовые!

Уже и все посольские люди выкатили на них глаза. Да и персидская стража, и погонщики, и сам михмандр, разинув рты, глядели на двух молодцов, то всплывавших вверх, то нырявших в ледяную, прозрачную глубину.

Ивашка постоял, подивился, снова скинул с себя натянутую было рубаху, гикнул, разогнался — и бултых в речку! На этот раз обошлось. Ивашка быстро поплыл к своему дружку, с веселым криком расталкивая воду крепкими руками. Вдоволь повозившись, все три молодца с ожженной докрасна кожей выбрались на берег.

— Ох, и осрамили же вы меня, братие! — укорял своих здоровенных причетников поп Никифор. — Того ли ждал от тебя, Илья, послушливый отрок! От тебя. Павел! От тебя, Фока! И-их, придем на Москву, засмеет нас игумен Парфен! Давай рубаху, ты, тьма египетская!

— И без рубахи пригож будешь, — смеясь, сказал молодой Илья, тонкокостый, тонколиций отрок, засовывая за скуфью попову рубаху. — Попляши малость, согреешься!

— Мне плясать не по чину, да и бык завсегда с телком управится... — И Никифор под хохот причетников навалился на Илью, поверг его наземь, подмял, подергал за волосы, добыл рубаху и, придерживая отрока ногой, стал не спеша одеваться.

Но вот пропела труба, и снова пошел посольский поезд наворачивать версты.

Опять замелькали мимо вспаханные поля, деревеньки, рощи. К обочине дороги выходили персидские мужики, бабы, высыпала детвора. Людям уже и скучно стало

глядеть по сторонам: глаз притерпелся к чужому краю. К тому же невыносимо томил жар. Иные, покачиваясь в седле, думали свою думу, иные подремывали, не смежая век, не сгибая стана: и во сне надлежало блюсти себя под чужим, приметливым глазом.

И все же случилось, один не соблюл себя. Сначала вывернулся из крепкой руки его длинный бердыш, а затем и сам всадник, круто качнувшись в седле, грохнулся оземь и застыл в красном своем кафтане на серой, покрытой пылью дороге. Поезд разом остановился, заржали кони, вздыбленные натянутым до отказа поводом, по рядам пробежал тревожный шепот.

— Никак Жижин Васятка? — Великий посол привстал в стременах и с тревогой посмотрел в голову поезда. — Верно, соснул, анафема!

— Он и есть, Васятка, десятник стрелецкий... — тихо сказал подьячий. — Только вряд ли соснул, не таковской...

— «Не таковской»... Вот придем в Лангеруд, прикажу отхлестать батожем пса нерадивого! — И великий посол, повернув коня, поскакал вдоль дороги к голове поезда. Вслед за ним двинулись толмач, подьячий и михмандр.

Васятка Жижин как упал с коня, так и остался лежать, уткнув лицо в дорожную пыль.

— Васятка! — грозно крикнул великий посол. — Ты чего?

Маленький, сухонький подьячий, проворно соскочив на землю, отвалил тяжелую голову Васятки. Глаза Васятки были широко открыты, лицо желто, под глазами темнели синие круги.

— Помер Васятка... — Не вставая с колен, подьячий достал из широченного кармана глиняную флягу с водичей и ладонью омыл запыленное мертвое лицо. — С чего бы только?

— Да... с чего бы только? — озабоченно повторил великий посол и внимательно оглядел ряды посольских людей. — Тимошка! — окликнул он стрельца, скакавшего в походе рядом с покойным десятником. — Не замечал ли чего за Васяткой? Может, жаловался или что?

Тимошка молчал, свесив голову, грудь его тяжело и надсадно дышала.

— Слышь, Тимошка! Да езжай ты сюда! Сюда, сюда вот! Башку-то вздень, гляди на меня! Ничего, говорю, не замечал за Васяткой?

— Как не приметить... жалобился... выламывало его, а потом уж и вовсе сник...

— Чего ж он смолчал?

— Государево дело, говорил, сполнять надобно... Ой батюшки-светы!.. — И Тимошка, опустив бердыш, скользнувший на землю, как-то странно выгнулся телом и вылетел бы из седла, если бы дьяк не схватил его за пояс и не удержал на месте.

По указанию дьяка двое стрельцов сняли Тимошку с коня и уложили на кошму в стороне от дороги, на зеленой траве.

Сперва он бился в их руках, потом затих, словно немочь отпустила его, и лицо медленно покрылось тем же цветом куриной слепоты.

— Ай полегчало? — спросил один из стрельцов.

Тимошка не ответил, только тяжело, со свистом, вздохнул и чуть заметно повел головой.

По ту сторону дороги челядинцы стали копать могилу, чтобы навек схоронить тело Васятки, сына Жижины, стрелецкого десятника.

Никифор махал кадилом над мертвым телом, причетники пели положенные молитвы, и в их грубые, сильные голоса вплетался тонкий девичий голос послуш-

ника Ильи; плотники быстро ладили из нетесаных досок гроб.

Отстояв несколько молитв, великий посол неприметно поманил к себе толмача Свиридова и отошел с ним к михмандру. Тот, пригорюнившись, стоял у своего коня.

— Ну чего тебе, сказывай! — сердито спросил дьяк. — Зачем звал?

— Говорю тебе, — словно бы проснувшись ото сна, начал михмандр, — то огненная немочь, болотная горячка! Мне ли того не знать? Этот мор навел на людей туман, тогда, на ночном привале. А потом они искупались в холодной реке, и немочь распустилась в их теле, как ядовитый цветок! Твои люди умрут от огненной немочи, а мне держать за них ответ пред шахиншахом, солнцем вселенной. А шах и без того гневен на моего господина! И не сносить мне бедной моей головы! Ах, зачем ты не послушал меня...

Великий посол важно положил руку на плечо михмандра.

— Не страшись шах-Аббасова гнева, пристав, — сказал он. — Я скажу шахиншаху, что твоей вины нет в смерти моего человека.

— О, смерть не пощадит и других твоих людей!

— ...в смерти нескольких моих людей, если господь то допустит. Но за что же гневен шахиншах на твоего господина?

Михмандр зло насупился и отступил на шаг:

— А зачем тебе знать об этом, царский посланец?

— Разве ж я неволю тебя? Не желаешь говорить — и не надобно. — Дьяк повернулся к михмандру спиной и пошел прочь.

Афанасий, переведя слова дьяка, поспешил за ним.

Но михмандр обогнал их и загородил путь:

— Поклянись, царский посланец, что не употребишь во зло...

— Что тебе в моей клятве? — равнодушно сказал дьяк. — Ты в аллаховой вере крещен, а я в православной, христианской. Да и стоит ли такая безделица клятвы? Я-то в простоте думал, что долг платежом красен...

Михмандр помедлил, затем доверительно склонился к толмачу и тихо сказал:

— Шахиншах, солнце вселенной... хотел похитить любимую жену из сераля моего господина...

Дьяк сердито посмотрел на михмандра.

— Скажи ему, Афанасий, не по еловы шишки ехал я за море, а по делам государским!

— Как знаешь... как знаешь... — смущенно забормотал михмандр. — А только клянусь аллахом... — Он помолчал, опустив глаза. — Ладно, я скажу тебе правду, всю правду скажу. Шахиншах прослышал, будто господин мой... замыслил отложиться от персидской державы, заключить союз с турецким султаном...

— Ну, далее, далее...

— Клянусь аллахом, я сказал тебе все, царский посланец!

— Ой ли? — Великий посол покачал головой и погрозил михмандру пальцем. — А сколь верен сей слух, достигший ушей шах-Аббасова величества?

— Это другие ханы из зависти оговорили пред шахиншахом моего господина!

— Что ж, — усмехнулся великий посол, — хвала тебе, если тебе хан дороже твоей головы. Раз так — пусть он и защищает верного своего холопа. А меня, будь добр, от этого уволь! И без тебя не оберешься хлопот...

— Но ты же обещал, царский посланец!

— Да и ты, помнится, обещал всю правду сказать, а вместо правды слушок пересказал. Слухом-то земля полнится...

— Чего же ты хочешь от меня? Я последний раб у моего хана, я сказал тебе все, что слышали мои уши!

— Сам должен знать, чего хочу. А коли ты последний раб у хана своего, так тебе и в ответе за хановы козны не быть. А уж за моих людей на тебе, на приставе, весь ответ! Вот и рассуди свою выгоду.

— Выгоду... — горько пробормотал михмандр и поник головой. — Направо смерть, и налево смерть...

— Твое дело, выбирай.

— А если не умрут твои люди, если обойдет их огненная немочь? Ведь и такое бывает...

— Дай-то господы!

— Дай-то аллах! Нет, я пока ничего не скажу тебе более, царский посланец. Ступай и хорони своего мертвого!

Васятку Жижина по чину отпели, поставили могильный крест, переломив надвое молодое придорожное дерево, да и отправились дальше к городу Лангеруду, за которым кончалось ханство Гилянское. Тимошку великий посол хотел было оставить на постое в одной из деревень. Но Тимошка, как ни слаб был, отказался; его подняли в седло, за спиной его сел челядинец и поддерживал болящего за плечи.

В десяти верстах от того места, где умер Васятка, челядинец, придерживающий Тимошку, склонился к своему соседу и тихо сказал:

— Похоже, кончился Тимошка, сквозь кафтан холод проступает. Оповести десятника...

Когда весть о смерти Тимошки по рядам добежала до нового десятника. Кузьмы Изотова, тот, не спросясь великого посла, приказал:

— Пусть до поры придерживает Тимошку-то...

И поскакал мертвый Тимошка по персидской земле на город Лангеруд.

А огненная немочь стала уже подбираться и к другим посольским людям. У одних еще только начинало ломить тело, бросало то в холод, то в жар, а у других уже лицо покрылось страшной, предсмертной желтизной.

— Ой, Семен, немочь-то, кажись, по людям пошла! — в тревоге шепнул толмач Свиридов великому послу. — Вон того, с краю, будто ветром шатает... И Фоку-причетника... И Егорку-стрельца... И Ивашку... Господи боже ты мой!

— Не вижу, что ль... — сквозь зубы сказал дьяк.

— Дай отдых, того гляди, повалятся... Беда-то какая!

— Нельзя, проволока. Авось стерпят.

— Да где ж стерпеть, ведь смертная немочь...

— Молчи, Афанасий! И я смертен, не ровен час, свалит меня недуг, кто тогда шаху Аббасу государское тайное слово молвит?

Михмандр ехал по левую руку великого посла, охва-



ченный страхом. Смерть подбиралась то к одному, то к другому из посольских людей. А к тому еще царский посол воротит от него лицо, будто от виноватого, и не дарит его ни единым словом. Быть беде, гневен и короток на расправу шах Аббас! А хану гиланскому что: выдаст его на смертную муку, а то и сам, в угоду шахиншаху, живо сдерет с него, михмандра, шкуру...

— Держись, Фока! — зычно крикнул поп Никифор и, перегнувшись в седле, ухватил за пояс недужливого своего причетника.

Удержался Фока, подхваченный сильной поповой рукой, охнул, выпрямился. А уж круто качнуло причетника Павла. Не удержался Павел, рухнул с седла, грохнулся оземь, но с маху стал, будто вкопанный в землю, его конь.

Великий посол подал знак, и поезд остановился как раз против персидского селения, вытянувшегося вдоль дороги. Сойдя с коня и оглядев всех людей своих, великий посол насчитал без малого четыре десятка больных, пятерых мертвыми сняли с седел, шестой, причетник Павел, лежал на дороге.

Мертвых похоронили в широкой могиле, накрыв единым крестом. Затем по приказу великого посла михмандр позвал из селения персидских мужиков и велел им сесть за спинами больных и поддерживать их в пути за плечи. Мужики поохали на чужую кручину и с хвоста полезли было на коней.

— Куда прешь? — слабым голосом отозвался Ивашка Хромов и, не оглядываясь, съехал с седла к хвосту. — Нужен ты мне!

— Но-но! — разомкнув спекшиеся черные губы, сердито прикрикнул стрелец Егорка и двинул коня из-под мужиковой руки. — Сам доскачу!

И по всему поезду, из конца в конец, слышались окрики:

- Брысь, приятель!
- Я те не баба, обниматься!
- Не твой конек, скидавайся!
- Самому тесно, отчаливай!
- А ну тебя к бесу, сосед!

Постояли персидские мужики около коней, помялись, покачали головами, да и пошли было прочь. Но тут великий посол, осердясь, приказал снять с коней и оставить на постой всех больных, кто не примет к себе персидского мужика. Тут уж все, как один, перестали противиться, и поезд, недолго помешкав, медленной рысью двинулся на Лангеруд.

17

— В Лангеруде я покину тебя, царский посланец... — тихо сказал михмандр.

Дьяк смолчал. Затем, поднявшись в седле и горестно покачивая головой, оглядел недужливых своих людей. Одни без сил отвалились на руки персидских мужиков, другие еще держались в седле и только время от времени, словно для отдыха, откидывались назад.

— От Лангеруда я поверну обратно, царский посланец... — повторил михмандр, тревожно следя за дьяком. — Там встретит тебя ближний человек шахиншаха, солнца вселенной...

— С богом, — отозвался наконец дьяк и, помедлив, добавил: — Жди теперь награды от шах-Аббасова величества за труды свои!

— Как можешь ты так говорить, царский посланец! — в страхе вскричал михмандр. — Я ли не предостерег тебя тогда, на той гиблой поляне!

— Так я ж всего только и говорю: жди награды.

Михмандр повернулся в седле и взглянул в глаза великому послу:

— Ты говоришь — награды, а думаешь — плахи!

— Вольно ж тебе гадать в моих думах, — повел плечами великий посол.

Михмандр схватил руку дьяка, державшую повод:

— Погляди на меня, царский посланец, ну, погляди же!

Дьяк обернулся к михмандру.

— Ты грозишь мне смертью, но ты сам скоро умрешь, царский посланец! Огненная немочь уже охватила твое тело! Ты не придешь в Казвин-город, не предстанешь пред светлые очи шахиншаха, солнца вселенной!

— Врешь, собака! — побледнев, сказал толмач Афанасий и неверным голосом перевел дьяку слова михмандра.

— И вовсе не врет... — сурово молвил дьяк.

Тут только, приглядевшись, увидел Афанасий, как опало за день полное лицо дьяка, как потускнели его глаза.

— Скажи ему: про то мне самому ведомо. И еще скажи: только я, великий посол, и мог уберечь его от шахова гнева. Все люди мои таят зло против него, пристава, и, если хоть один из них дойдет до Казвин-города, не миновать ему, приставу, плахи!

— Но ведь ты можешь указать своим людям, царский посланец, — молящим голосом сказал михмандр. — Тебе ли не знать, что я...

— Мне нынче о своей душе забота, а не о суете земной. О-ох!... — И дьяк потянулся в тяжелой истоме.

С полверсты проехали в молчании, слышалось только трудное, надсадное дыхание дьяка.

— Ай неможется? — тихо спросил Афанасий.

Дьяк не ответил, припав к конской гриве.

— А если я открою тебе... всю правду, что и шахиншаху, солнцу вселенной, неизвестно? — снова заговорил михмандр.

— Воля твоя, пристав. Да только не мешкай, не ровен час...

— А ты укажешь тогда... своим людям?

— Долг платежом красен. О-ох!

— Поклянись своим богом!

— Еще чего...

— Ладно же, я верю тебе! С начала мира еще никто не лгал, стоя у края могилы... Слушай же.

Михмандр и толмач одновременно склонились к дьяку.

— Мой господин, хан гилянский, и верно, договаривается с турецким султаном... — быстро залопотал михмандр, словно боясь передумать. — Он замыслил отложиться от шахиншаха, вместе с султаном идти на него войной. Султан обещал пригнать к нему коней, всадников, оружие, казну... Вот и вся правда, царский посланец! Только помни: не от меня слышал ты эту правду!..

Михмандр откинулся назад, пот стекал с его лба.

— О том не тревожься, пристав... А для чего зазывал меня в Решт-город твой хан?

— Он хотел купить тебя, царский посланец, помешать союзу и дружбе между шахиншахом и московским царем. Так велел ему султан, проведая, что ты идешь с великим посольством в Казвин-город.

Дьяк расправил плечи, презрительная улыбка появилась на его лице.

— Дурак он, твой хан!.. А тебе, пристав, стыдно было таить злое ханово дело! Шах-Аббасово величество — славный государь, большую силу дал он вашей персидской державе, укрепил ее и украсил. Или тебе родина не мать?

— Так я же открыл тебе...

— Открыл... под тонором!

Толмач Афанасий, не сводивший с дьяка тревожных глаз, с тайной надеждой спросил его:

— Семен, ай Семен, никак притворялся ты хворым?
— Разве малость одну... — скорбно отозвался дьяк и, оборотясь назад, тихо позвал: — Ондрей!

Подьячий Ондрей Дубровский, скакавший за великим послом, дернул повод и ловко поставил коня между ним и толмачом.

— Я, Ондрей.

— Все слышал?

— Все.

— Все, как есть?

— Все, как есть.

Дьяк помолчал, собираясь с силой:

— Не жить мне, Ондрей. Хотел я великое посольство справить, родной Руси послужить, да, видать, не судьба. Как придешь в Казвин-город, Ондрей, скажи шах-Аббасову величеству о кознях хана гилянського, да только пристава в обиду не давай, я в том клятву положил. Но посольского дела справлять не смей, не по чину оно тебе. Просись у шаха обратно в Москву, обскажи все правителю Годунову и привет мой последний дружку Щелкалову передай. Упомнишь?

— Упомню.

— Ну, быть по сему...

И дьяк привалился к конской гриве.

Среди ночи из шахского стольного города Казвина выехали на север два всадника. Один молодой, лет двадцати двух, другой вдвое старше. По внешнему виду они походили на небогатых торговцев — хозяина и приказчика, — скупающих по деревням рис или хлопок. Ехали быстро, в молчании, лишь изредка перебрасываясь короткими фразами.

— Где-то они теперь? — тихо, словно про себя, говорил молодой. — Только бы не разминуться с ними.

— Не разминемся. Путь один...

— А вдруг свернут куда? Расспрашивать-то не велено!

— Не свернут...

— Упустим — голову снимут.

— Аллах милостив...

Остановок нигде не делали, объезжая стороной города и селения. Питались взятым с собой запасом, жажду утоляли ключевой и речной водой. Спали, сойдя с коней, в открытом поле: час, другой, и снова в путь.

— Уж не Лангеруд ли? — тревожно спросил молодой на рассвете пятого дня.

— Лангеруд, — подтвердил старший, пристально взглядевшись в башню минарета¹, чуть маячившую на горизонте.

— Тут, что ли, сойдем?

— Нет. — Старший помолчал, осматриваясь. — Вон там, за рощей, у оврага.

Когда спешили, старший осторожно повел своего коня по крутому склону оврага. Младший последовал за ним. На дне оврага остановились. Старший достал из-за пазухи длинный кинжал и рассчитанным, быстрым движением — словно блеснула молния — вонзил его под горло коню, ловко увернувшись от хлынувшей струей крови. Конь всхрапнул, шатнулся и тяжело рухнул на землю. Почти одновременно проделал то же со своим конем и младший спутник.

— Может, не станем закапывать? Шакалы и без нас дочиста уберут...

— Дурья башка!

¹ Минарёт — башня на мечети, с которой муэдзин призывает мусульман напевом к молитве.

И старший принялся небольшою лопаткой вскапывать сухую, неподатливую землю. Младшему ничего не оставалось, как последовать его примеру. Работали до поздних сумерек, и все время носились над оврагом черные стаи ворон.

Ранним утром, чуть забрезжил свет над оврагом, оттуда выбрались двое нищих, одетых в жалкое тряпье, с грязными, запыленными лицами и гноящимися глазами. Одному было года двадцать два, другому вдвое больше, он был хром и опирался на палку. Они миновали рошу, вышли на дорогу и зашагали к городу Лангеруду.

— Будем ждать их в Лангеруде или двинемся дальше? — спросил младший.

— Поглядим, послушаем, тогда и решим...

Высокий лангерудский минарет был уже виден путникам в узком обводе галереи, с высоты которой муэдзин славил сейчас аллаха и созывал правоверных в мечеть. Нищие стали на колени, обратили лицо к востоку и сотворили положенные молитвы.

В Лангеруде они разошлись и разными улицами направились на майдан — торговую площадь, прося по пути подавание. На майдане пробыли долго, то с протянутой рукой заходя в лавки, то мешаясь на площади с толпой продавцов и покупателей, то якшаясь со своей братией — нищим народом. К ночи они снова сошлись в крошечной тьме, на глухой улочке.

— Ну что? — спросил старший.

— Через три дня ожидают тут, в Лангеруде.

— Кто сказал?

— Писарь самого даруги¹.

— Кому сказал?

— При мне сказал купцу Карчихаю, в шелковом ряду. Даруга, говорит, приказал встречу готовить...

¹ Д а р у г а — местный воевода.

— Верно сказал писарь. Я о том же проведал.

— Будет ждать или...

— Будем ждать. Тут, в толчее, легче будет исполнить волю пославшего нас, чем на дороге.

— Ох, страшно мне! Поймают — кожу с живого сдерут...

— На то шел, — холодно отозвался старший. — Дрогнешь — все равно смерть. — Он склонился к молодому. — Олпан-бек шутить не любит...

Переночевали они на городской свалке. Наутро старший предостерег молодого:

— Будь осторожен. Говорят, даруга изгоняет из города всех недавно прибывших. Будто чувствует что. На майдане полно соглядатаев...

И они снова, разными улицами, отправились на майдан.

— Узнал, где на постой станут? — спросил ночью при встрече старший.

— Не знаю... не слышал...

— Дурья башка! Сам посол на подворье станет, что за мечетью. Об остальных завтра узнаю...

— А за мной человек ходил. Куда я, туда он...

— Какой человек? — старший в тревоге схватил младшего за плечо.

— Тоже будто нищий. Но я думаю, не нищий. Ходит за мной и молчит. «Чего привязался?» — спрашиваю. Отойдет, а потом опять ходит... Насилу улизнул от него!

— Соглядатай! Больше не ходи на майдан! А ты верно знаешь, что улизнул от него?

— Знаю, — уверенно отвечал младший, и в тот же момент несколько сильных рук схватили его. Он истошно завопил: — А-а-а!

Схватили было и старшего, но он мгновенно пригнулся, вырвался и прыгнул во тьму. Тщетно рыскали в черной ночи слуги даруги — старший нищий исчез бесследно.

Когда молодого нищего привели к даруге, тот велел ему подойти ближе.

— Гляди мне в глаза, — сказал он тихим голосом. — Откуда и зачем прибыл в Лангеруд?

— Нет у меня ни дома, ни пропитания, хожу по городам и селам и собираю милостыню именем аллаха.

— А твой товарищ, откуда он и как его имя?

— Не знаю. Да и не товарищ он мне, я с ним познакомился на майдане.

— Лжешь! Ты два дня назад вместе с ним вошел в город!

— Нет, я не знаю этого человека.

— А откуда у тебя кинжал, да еще богатый, доброй выделки? Нищему не нужен кинжал.

— Украл...

— Украл? Умно придумал. За кражу я велю отрубить тебе голову, а за что похуже — содрать шкуру с живого. Покажи твои руки!

Нищий протянул к даруге руки.

— Это не руки нищего — они привыкли держать оружие... Обнажи свою грудь, еще, еще, по пояс! Это грудь воина, сильного, выносливого воина... Повернись спиной! Прямая спина, непривычная гнуться в поклоне... Ты воин! Говори, кто купил твою честь? Кто надел на тебя это позорное, вонючее платье? Кто сунул в руку тебе нож убийцы? — Даруга приказал удалиться страже, привстал и почти вплотную приблизил свое лицо к лицу нищего. — Говори: кто подослал тебя из Казвина поднять дерзкую руку на послов московского царя, друга и надежду шахиншаха? Молчишь? Я выпущу каплю за каплей всю твою кровь, а заставлю назвать имя изменника и злодея!

Нищий упал на колени и охватил руками ноги даруги.

— Я не смею сказать, не смею! — вопил он, ползая по земле.



Великий посол, подхваченный под локти толмачами и подьячими,
стал в голове поезда.

— Почему не смеешь?

— Ты сам содрогнулся бы от страха, даруга, если бы я назвал тебе это имя! Верь мне — лучше тебе не знать его, а то и сам погибнешь лютой смертью! О, прикажи убить меня, отруби мне голову, только позволь не называть его!

Даруга презрительно ткнул нищего ногой:

— Ты что — вздумал пугать меня? Для меня будь он хоть кто угодно, а я открою шахиншаху глаза на него! Говори же, подлая душа! Молчишь? Ладно, ты все мне откроешь под пыткой! — Даруга позвал стражу. — Уберите его и держите крепко, на двойной цепи! — А когда стражи уже уходили, уводя арестованного, он крикнул им вслед: — И подрежьте ему жилы на ногах, чтобы он не мог уйти, даже если стены темницы сами падут перед ним!..

В тот же час даруга настрого приказал искать по всему городу второго нищего. Но все розыски оказались тщетными: видимо, тот еще ночью покинул Лангеруд.

Версты за две от Лангеруда навстречу посольству вышли лангерудские жители в праздничных одеждах. А когда поезд был в полуверсте от Лангеруда, из городских ворот выехал на украшенном коне старый даруга, сопровождаемый несколькими стами всадников. В десяти саженьях от головы поезда даруга придержал коня, и вперед выехали на конях пятнадцать юных персиянок с открытыми лицами. Вслед за ними выехали дудочники, барабанщики, флейтисты, скрипачи, свистуны. Тут и великий посол приказал поезду остановиться, а сам, подхваченный под локти толмачом и подьячим, объехал презд и стал в голове его.

Одни персиянки запели, другие, вскочив ногами на седло, принялись резво выплясывать на зыбкой конской хребтине, будто на твердой земле. А в лад персиянкам задудели дудочки, забили барабанчики, заиграли флейтисты и скрипачи, засвистали свистуны.

— Недоброе дело, Семен... — Толмач Афанасий помрачнел. — Люди, почитай, уж все занедажили...

— Да и покойников чуть не с десятков, — сокрушенно добавил подьячий, — грех-то какой!..

— Знай, молчи, — еле шевельнул губами великий посол. — Грех на мне будет... Авось отпустит господь ради государского дела...

А персиянки продолжали с усердием петь и плясать перед самым великим послом.

— Выдашь девкам... из кладь... камки шелковой... по десять локтей на каждую... — приказал великий посол подьячему.

Затем он тронул коня навстречу даруге и приветствовал его.

Даруга подъехал к великому послу и ласково тронул его за плечо.

— Видать, сильно притомились в пути... — сокрушен-



но молвил он, внимательно оглядев поезд. — А то и разболелись?

— Ответствуй, — громко, в голос, вскинувшись в седле, приказал дьяк Афанасию. — Смертно притомились, денно и ночью спешили предстать пред его шах-Аббасова величеством!

— Вижу, — тихо отозвался даруга, остановив взгляд на бескровном, мертвой желтизны, лице великого посла. — Вот и отдохнете у меня, пока шахов ближний человек прибудет.

— Ответствуй, Афанасий, — молвил дьяк. — Бока, мол, болят, а лежать не велят. Ночку на Лангеруде скоротаем, дождемся подвод с рухлядью — и в путь! На добром же слове благодарствую.

Едва расположились посольские люди на подворье, как на смену гилянскому михмандру прибыл из Казвина, от шахова ближнего человека Мелкум-бека, новый пристав, Шахназар, невидный, хмурый, глаза щелками, ничем не приметный человек. Шахназар был в свое время в Москве, по купеческим делам, и понимал немного русскую речь.

Михмандр привел нового пристава.

— Прощай, царский посланец, — сказал он тихо и печально, — да поможет тебе бог.

— Прощай, — коротко отозвался дьяк.

Михмандр постоял молча, будто хотел еще что-то прибавить, затем слабо махнул рукой и вышел из покоя.

На утро двадцать первого сентября, схоронив восемь своих людей, великое посольство вышло из Лангеруда на Лахиджан. В дороге умерли от огненной немочи еще семеро.

В Лахиджане стояли два дня, и здесь посольские люди почти все разболелись. К великому послу явился в смятении пристав Шахназар.

— Горе мне! — сказал он хмуро, ударяя себя в грудь. — Наказал мне шахов ближний человек, глаза и уши шаховы, Мелкум-бек: шах-де ждет не дожидется посла друга своего, царя русского!

— Скажи ему, Степан, — тихо, но внятно произнес великий посол. — Скажи ему, чтобы слез задаром не лил. У меня и в мыслях не было оставаться долее в сем городе. Сегодня же выступаем на Дилеман, а из Дилемана без промедления на Казвин...

Свиридов в горестном недоумении глянул на дьяка, чуть помедлил и перевел приставу его слова.

— Я знал, — склонился Шахназар в низком поклоне, — я знал, что воля шахиншаха священна для тебя, царский посол.

— Скажи ему, Степан, что врет, — сердито отозвался дьяк, и желтое его лицо подернулось легкой краской. — По воле государя моего поспешаю я к шаху Аббасу, не щадя жизни своей и людей своих.

Пристав, смолчав, еще раз поклонился и вышел.

— Семен, неужто и вправду пойдем нынче на Дилеман? — Доброе лицо Свиридова как-то по-детски дрогнуло и скривилось в жалкой гримасе. — Ведь жара непомерная и негде укрыться в пути...

— Сказано: пойдем.

Сборы были недолги. К вечеру, лишь спала жара, посольский поезд двинулся дальше, на Дилеман. Кто не мог сидеть на коне, тех привязывали; других, как уже повелось, персидские мужики, сидя на конском крупе, удерживали за бедра. Иные посольские люди, свалясь с седла, умирали в пути, иных, привязанных к седлу, привозили мертвыми в стан. А тут еще шесть кречетов из десяти, должно быть от жары, забили и умерли.

Когда узнал о том великий посол, то сильно закручинился и со вздохом сказал:

— Беда-то какая великая!

Вскоре и дьяку уже не под силу стало сидеть в седле, и персидские мужики понесли его на носилках — глухо занавешенной постели с высоким балдахинном. По обе стороны носилок с понурыми лицами ехали на конях его ближние люди, подъячий Дубровский и толмач Свиридов. То и дело они заглядывали за занавеску и прислушивались: не кличет ли их великий посол, не стонет ли, дышит ли еще?

И свершилось: на третий день по выходе из Лахиджана, около полудня, государева посла, дьяка Семена Емельянова, не стало. Раз отмолчался он на тревожный зов ближних людей своих, другой, третий. Откинули полог носилок, а дьяк уже похолодел, мертвая, отяжелевшая голова его, в лад шагу носильщиков, моталась вправо-влево по шелковой, шитой цветами подушке.

— Ведь остерегал его, — с укором проговорил толмач Свиридов. — Христом богом молил, не поспешал бы зря, дал бы отдых себе и людям. Ан нет, не захотел...

— Не пусторечь, Степан, — сказал подъячий Дубровский. — Не его веленьем — волей Москвы поспешали.

Поезд остановился, уныние охватило посольских людей, затерянных в чужой, дальней стороне. В молчании сошли они — кому под силу было — с коней на раскаленную землю; остальных сняли персидские мужики.

Кузьма — его не брала огненная немочь — склонился над Ивашкой Хромовым. Щеки Ивашки втянулись, глаза ввалились, на желтом костистом лице только и осталось от прежнего, что озорные, взлет, брови.

— Ай худо тебе, Ивашка? Гляди не помри!

— Не помру, Куземушка... Время мое не вышло.

Узнав о смерти московского посла, пристав Шахназар снарядил в Казвин гонца, приказав ему известить

о том Мелкум-бека. Через восемь дней гонец привез ответную весть от Мелкума: по шахову велению доставить над могилой московского посла великую гробницу каменную.

Три дня и три ночи таскали персидские мужики белые камни из недалней в горах каменоломни; тесали и складывали камни один к одному, пока не вырос среди долины, на удивление путникам, высоченный холм белокаменный. Не думал московский дьяк Семен Емельянов, хитрая голова, жизнелюб, обрести вечный приют под этой несуразной громадой, вдалеке от родимой земли, посреди чужого царства персидского!

Поп Никифор было усомнился, пристало ли православному христианину покоиться под этой пирамидой и нет ли в том греха. Но тихий подьячий Ондрей Дубровский, оставшийся теперь за старшего, вразумил его:

— Шах Аббас желал оказать этим великую честь послу государеву. В каждой земле свой обычай, и ты со своим уставом в чужой монастырь не лезь.

21

За день до того как гонец пристава Шахназара прибыл в Казвин с вестью о смерти великого посла московского, к дому Олпан-бека примчался на взмыленном коне один из его воинов. Одежда и лицо его были густо запорошены дорожной пылью, со лба лил пот, глаза налиты кровью от усталости. Это был пожилой воин крепкого сложения. Войдя к Олпан-беку, он низко склонился перед ним, приложив руку к груди.

— Московский посол умер, господин мой! — сказал он хриплым голосом. — Умер и зарыт в земле!

— Уф! — с облегчением выдохнул Олпан-бек. — Хвала тебе, Талуб.

— Я ни при чем тут, господин мой. Московский посол умер по воле аллаха.

— Все свершается по воле аллаха, дорогой мой Талуб. Но ты был исполнителем его воли, и я повторяю: хвала тебе, славный мой воин, ты заслужил обещанную награду. А ты замел следы, как я приказал тебе? Уничтожил Халиля?

Воин молчал, опустив глаза.

— Что же ты молчишь, Талуб? Я тебя спрашиваю: ты убил, уничтожил Халиля после того, как он совершил свое дело? Или его схватили? — Олпан-бек в волнении поднялся с подушек, на которых сидел, и шагнул к воину. — Говори, мальчишку схватили? Или у тебя не поднялась рука на него, и он прискакал сюда вместе с тобой? В таком случае еще не поздно...

— Разве я посмел бы ослушаться твоего приказа, господин? Разве бывало, чтобы рука Талуба не поднялась для выполнения воли его господина? Но все вышло иначе. Халилю не пришлось убить московского посла...

— Что-о? — вскричал Олпан-бек. — Ты же сказал, что московский посол мертв и зарыт в земле!

— Мертв и зарыт в земле, — как эхо повторил воин и поведал господину о том, как вместе с Халилем собрался убить московского посла и как лангерудский даруга за день до прибытия посольства выследил их и схватил Халиля...

— Схватил Халиля! Да понимаешь ли ты, пес, что говоришь? Ведь Халиль под пыткой все откроет этому проклятому даруге!

— Халиль ничего не откроет даруге, господин. Халиль — сын моей сестры, я знаю его душу...

— Но ты не знаешь лангерудского даругу, пес! Он вынет душу из твоего Халиля и узнает все, что ему надо!

Олпан-бек схватил воина за грудь и с силой отбросил к дверям:

— Возвращайся в Лангеруд, проникни к Халилю и убей его!

— Я попытаюсь, господин... Но раньше послушай меня...

— Да, да, говори, — придя в себя, сказал Олпан-бек. — Говори, отчего умер московский посол? Да и умер ли? Может, ты солгал мне, собака?

— Клянусь аллахом, я своими глазами видел, как его мертвое тело опустили в яму и завалили землей. Он умер от огненной немочи на пути из Лахиджана в Дилеман...

— От огненной немочи?

— Да, господин. Огненная немочь преследует по пятам и бьет насмерть одного за другим! Я в одежде нищего ходил среди них, когда они остановились между Лахиджаном и Дилеманом, чтобы схоронить посла и других своих мертвецов. Они походили на стадо, из которого волки вырвали пастуха и самых жирных овец, а теперь принялись за остальных. Я повсюду слышал стоны умирающих. Я видел человека, который остался вместо посла, и прочел смерть на его лице. Я видел его переводчика и говорю тебе, господин: и его стережет смерть! Я сам перенес в молодые годы огненную немочь, она сгубила почти всю мою родню, и верь мне: едва ли горстка посольских людей дойдет до Казвина!

— Хорошо, Талуб, — заключил Олпан-бек. — Отправляйся обратно в Лангеруд. Халиль не должен жить!.. — Олпан-бек в раздумье умолк. — Или нет, тебя могут узнать, пусть лучше едет Хасан...

— Господин! — умоляюще произнес воин.

— Передашь мои слова Хасану и скажешь, что надо делать. Ступай!

Воин склонился в поклоне и вышел. Тотчас же Олпан-

бек позвал к себе своего любимого юзбаши, сотенного начальника:

— Джами, мне нужно, чтобы Талуб не увидел завтра восхода солнца.

— Завтра? — удивленно спросил юзбаши.

— Что ты не понимаешь, ослиная голова? — закричал Олпан-бек. — Ни завтра, ни послезавтра, никогда!

— Слушаю, господин.

Отпустив юзбаши, Олпан-бек велел подать коня и отправился к брату — казвинскому воеводе Мелкум-беку.

Когда Мелкум-бек узнал от Олпан-бека о неудаче их общего замысла, о судьбе Халиля и о том, что добрая половина московского посольства погибла в пути от огненной немочи, он сказал:

— Тем лучше для нас, брат: ведь даруга не может доказать, с какой целью был послан Халиль. А раз уж случилось, что московский посол и его спутники погибли, — я дам знать Стамбулу, что не без моей воли настигла их в дороге огненная немочь. Я сегодня же отправлю к султану гонца, который принесет ему весть о гибели царского посольства прежде, чем она коснется слуха Реджеб-аги. Хорошие вести бросают свет на того, кто их приносит. А ты знаешь, брат, как высоко ценит мои услуги султан...

— Да и мои... — хмуро добавил Олпан-бек.

— И твои, Олпан. Но ведь повелителю правоверных известно, что тобой руководит одна лишь корысть. А я — о, я гляжу далеко...

— Не слишком ли далеко, брат? — усмехнулся Олпан-бек.

— Пусть, Олпан, но за мной великая сила: Османской Порте приводилось решать и не такие задачи... А как быть с Талубом, брат? Не слишком ли многое знает этот славный воин?

— Он сегодня умрет.

Подьячий и толмач держали меж собой совет и решились не следовать далее на Казвин, а проситься отсюда у шаха обратно в Москву. Они призвали Шахназара, и подьячий сказал ему:

— Снаряди, пристав, гонца в Казвин, и пусть тот гонец скажет от меня Мелкум-беку такую весть. Посланы-де мы к государю вашему для великого и доброго дела. Волей божьей великих послов не стало. А мы: я, подьячий, послан для письма, переводчик — для толмачества, а кречетники — ради птиц. И нам к шах-Аббасову величеству ехать незачем: дела за нами посольского нет никакого, грамот и поминков мы шаху Аббасу отдать не можем. Мы не послы, и нет среди нас такого, кто дерзнул бы на такое великое и тайное дело. А потому просим мы шах-Аббасово величество отпустить нас обратно на Гилян и тем же водным путем на Астрахань...

Опять помчался гонец в Казвин, и на девятый день возвратился назад с вестью от Мелкум-бека: требует шах посольских людей к себе, сколько бы их ни осталось в живых.

Что было делать? Ведь и дьяк перед кончиной наказал им идти на Казвин, только не справлять посольского дела, а проситься у шаха обратно в Москву. Так, видно, тому и быть.

Перед дальним путем подьячий и толмач пошли по лагерю посчитать людей, ободрить их добрым словом. Не насчитали и полусотни: более половины полегло в горящей, сухой персидской земле.

— А сколько еще, Ондрей, на Русь не вернется! — вздохнул толмач Свиридов. — Гляди-ка, как маются в смертной муке...

Толмач остановился возле кошмы, на которой в ти-

хой муке, с желтым лицом, лежал в забытьи юный послушник Илья. Около него, печально склонясь и бережно держа его руку в своей, сидел на земле поп Никифор.

— Слышь, Ондрей, — лицо толмача скривилось, — мать свою кличет малец, а мать далеко-далече, о-ох!

— Не тревожь ты мне душу, Степан, — сухо отозвался подьячий и тронул за плечи Никифора. — Сам-то ты, поп, в силе? Обошла тебя немочь?

Никифор поднял голову, по волосатым щекам его медленно скатывались слезы и терялись в лохматой бороде.

— Я-то? Ничего мне не делается, Ондрей Федотыч. Не берет меня недуг, где ему...

— Вот и хорошо, отец Никифор, вот и хорошо.

Никифор взгляделся в лицо подьячего:

— А ты, Ондрей Федотыч, никак...

— Знай молчи! — подьячий нахмурился и шагнул прочь. — Пойдем, Степан.

— Чего осерчал-то? — простодушно спросил его толмач. — Иль сгрубил тебе поп?

Подошли к Ивашке Хромому, недвижно лежавшему на кошке. Ивашка, узнав подьячего, чуть приподнялся на своем ложе.

— Э-э, да это никак ты, озорная душа, повстречался мне в Царицыне-граде, ночью? — ласково обратился к нему подьячий.

— Я и есть, — чуть усмехнулся Ивашка. — Если б не ты, приказная строка, гулять бы мне сейчас вольным казаком...

— Поговори у меня! — погрозил ему пальцем подьячий. — Дивлюсь я тебе: эдакий молодец, а поддался хвори. Что так?

— Не поддался я вовсе. Погостевала во мне хворь, да не по нраву пришлось, я и гоню ее прочь...

— И что ж, уходит?

— Ухо-одит, — убежденно сказал Ивашка.

— А кто ж это так ладно тебе постель постелил?

— То дружок мой, Куземка Изотов. — Недобрые глаза Ивашки потеплели. — Он о всех болящих заботится.

— Куземка? Десятник стрелецкий? Ишь, ты! — задумчиво произнес подьячий. — Видел я в нем разум, а что и душа добрая, заботливая, о том не ведал...

Пошли дальше. Здоровые были наперечет: иные, прослышав о близком походе, чинили нетвердой рукой прохудившуюся обувь, латали одежду. Вот пробежал мимо бледный, суматошный челядинец, клича попа Никифора.

— Чего ты? — остановил его Ондрей Дубровский.

— Кречетник Николка помер...

Подьячий и толмач осенили себя крестом.

— Царство ему небесное, — тихо промолвил толмач Свиридов, — хотя, кроме птиц, ни к кому любви не имел.

— Да, недоброй, узкой души был человек, — подтвердил подьячий. — Эй, Куземка! — окликнул он широко шагнувшего навстречу Кузьму Изотова, который нес на руках словно бы безжизненное тело. — Кто такой?

— Микеша, боярский сын.

— Отошел?

— Отходит. К Никифору волоку. Сколько ни кликал его — нейдет. Его нынче от Ильи клещами не оторвешь.

— Любит он Илью, что сына родного, — заметил толмач.

— Мало что любит, — сурово отозвался подьячий. — На то и поп, чтобы обо всех христианских душах равно заботиться.

— Правда твоя, Ондрей Федотыч, — спокойно подержал Кузьма. — Этак все вразлад придет, если каждый о своем печалиться станет.

Подьячий, невысокого росточка, подтянулся на носках, поглядел в лицо лежавшему на руках Кузьмы боярскому сыну, тронул его лоб ладонью.

— Таши обратно, Кузьма: кончился Микеша, без отпущения грехов кончился. Ответит Никифоришка, по нерадивый, перед господом за его душу!

— И-и, за кого ответ-то держать? — Кузьма легонько встряхнул покойника на руках. — Ему и осьмнадцати годков не было, горемычному. Он и грехов-то не успел нагулять! Как есть дитя.

Подьячий хмуро поглядел в землю, затем медленно поднял на десятника глаза:

— Вот что, Кузьма... Нам нынче на Казвин выступать. Только смеркнется...

— Нынче?

— Нынче.

Молчание. Слышно только тяжелое дыхание подьячего.

— Так ты, Кузьма, того... оповести людей, приготовь к походу. Я на тебя надеюсь, Куземушка...

— Ладно, Ондрей Федотыч.

Кузьма повернулся и быстро зашагал прочь, неся на вытянутых руках мертвое тело.

Схоронив мертвых, посольские люди двинулись на Дилеман-город. Теперь почти у каждого посольского человека за спиной сидел персидский мужик и поддерживал его за плечи. Под двойной тяжестью кони ступали медленно, поезд добрался до гор только под утро. После короткого отдыха великое посольство углубилось в горы.

Вскоре глазам истомленных путников посреди цветущей горной долины открылся Дилеман-город с тесно расположенными беззаконными глиняными домиками, над которыми, прямой и узкий, как столб, высился минарет, обведенный по кругу галереями. Посольство остановилось



Посольские люди двинулись на Дилеман-город.

на краю города. Пристав Шахназар приказал согнать жителей из нескольких домов и расположил в этих домах посольских людей.

В пути умерли семь человек и в самом Дилемане к вечеру первого дня еще одиннадцать.

Поредело московское посольство. Едва три десятка людей увидели на другое утро крохотный городок Дилеман и окружавшую его бескрайнюю гряду невысоких, холмистых гор, уходящих в сизую, туманную даль. Но и в этот день их поджидала новая печаль: тяжело занемог подьячий Ондрей Дубровский.

Чувствуя близость своей кончины, подьячий призвал к себе толмача Степана Свиридова, черного попа Никифора, городского дворянина Вахрамеева, кречетника Петра Маркова и стрелецкого десятника Кузьму Изотова.

Лежал подьячий на мягкой верблюжьей кошке, в большом внутреннем дворике отведенного ему дома. Измученный болезнью, но с ясным взором, подьячий дал рукой знать пришедшим, чтобы подошли ближе.

— Смерть моя пришла, последний мой час, — заговорил он тихо и внятно. — Старшим над вами оставляю Степана Свиридова, толмача, опытного в посольском деле. Не раз хаживал он в чужие земли с послами, и дело это и персидскую речь хорошо разумеет. Без прекословья повинуйтесь ему, как если б устами его сам великий посол говорил...

Дубровский умолк, собираясь с силами и болезненно сощутив глаза от яркого утреннего света.

— Послушай, Ондрей... — начал было Степан Свиридов, но подьячий снова открыл глаза.

— Помолчи, Степан.

Слабой рукой указал он на лежавшую рядом небольшую коробью с бумагами, опечатанную посольской печатью.

— Тут лежат государевы грамоты к шаху и наказ великим послам. Говорю тебе, Степан: шах Аббас не только над поминками, но и над тобой самим волен. А уж за грамоты, — Дубровский приподнялся на своем ложе, голос его окреп и стал строже, — за грамоты помри, а не смей отдавать!

— Дай слово молвить, Ондрей...

Но Дубровский, нахмурясь, снова прервал толмача:

— Знай слушай, Степан!.. А случится, что отстоять грамоты никак невозможно будет, то вынь из коробки две малые грамоты и отдай... Понял?

— Понял, Ондрей. А только...

— Помолчи, Степан. Знаю, мягок ты сердцем. Так вот, говорю тебе: пусть лютая казнь грозит твоим людям, — подъячий медленно обвел взглядом присутствующих, — а больших грамот ни в каком случае не отдавай...

— Позволь слово молвить, Ондрей...

— Да помолчи ты! — рассердился подъячий, передохнул и продолжал тем же тихим голосом: — Если случится тебе быть у шаха, скажи ему, что хан гилянский сносится с турком и против него, шаха, зло умышляет. Однако к шаху идти не напрашивайся, может, он за глаза отпустит обратно на Москву. Так оно лучше будет. А то, не дай боже, чего лишнего сболтнешь, между государем-царем и шахом какое сомненье посеешь... И еще: во всем следуй наказу великим послам: там описано, как следует посольским людям при всяком случае поступать. Сам обращайся к наказу и людей тому научай. Понял, Степан?

— Понял, Ондрей. Да что толку, если...

— Вот ведь, торопыга! Ну што тебе, говори уж!

Толмач помолчал, опустив глаза, затем поднял их на подъячего и тихо сказал:

— Толку, говорю, нет мне внимать и помнить...

— Это как же так? — Дубровский недоуменно и вместе с тем пристально вгляделся в лицо толмача. — Вот оно что, — произнес он горестно и устало отвалился на подушку. — А может, отлежишься, отойдет хворь? Ведь без меня да без тебя пропадут люди, Степан...!

— Нет, не жить мне, Ондрей, стар я, нет во мне силы против огненной немочи...

Все молчали. Подьячий забылся в тяжком раздумье.

— Что стоишь, Степан? — заговорил он наконец. — Присосеживайся на кошму-то...

Он хотел было подвинуться на своем ложе, но от натуги помертвел лицом.

— Не тревожь себя, Ондрей. — Свиридов, опираясь на палку, шагнул вперед и опустился на кошму в ногах подьячего.

И тут подьячий, сморщив в кулачок свое и без того крохотное, исхудавшее лицо, улыбнулся доброй и вместе печальной улыбкой: над собой, над своей слабостью, над горестной своей судьбой. Узкими щелочками глаз оглядел он одного за другим рослых, здоровенных, сажень в плечах, богатырей, стоявших над ним: попа Никифора, кречетника Петра Маркова, стрелецкого десятника Кузьму Изотова.

— Ну и дела-а... — протянул он. — Дожили мы с тобой, Степан, попустил господь... Иль мало поклонов били? Иль согрешили чем!... — Подьячий чуть поднялся на смертном своем ложе. — Слушай меня, ты, Никифор, ты, Григорий, ты, Петр, и ты, Куземка... — Он снова передохнул, видно, сила его убывала. — Вас одних призвал я сюда из посольских людишек, более некого. Что завещал я при вас Степану, тому и следуйте: берегите большие царские грамоты и проситесь у шаха обратно в Москву. Ты, Никифор, грамотей, вот и читай людям наказ, он всегда вас на правильный путь наставит... Так-то... — Подьячий опять умолк, собираясь с силой. —

И ведите список всем своим делам, всему, что случится с вами в пути и в Казвине. А вернетесь в Москву — представьте список в Посольский приказ... Поняли? Ну, да вразумит вас господь бог... А теперь ступайте...

Подьячий отвалился на подушку и прикрыл глаза.

Отошел он к вечеру, тихо и неприметно. В гробу лежал как нахохлившаяся птичка-невеличка, хмурый, озабоченный, будто с обидой, что не привелось ему совершить посольского дела, а теперь, гляди, без него и напутают.

Поп Никифор отпел покойника, а заодно и еще семерых умерших посольских людей. Пристав Шахназар приказал воздвигнуть над могилой подьячего гробницу из белого камня, вдвое меньшую, чем у дьяка. С тем и покинули посольские люди, числом двадцать два, затерянный в горах глиняный Дилеман-городок.

24

— Дорогой брат, — сказал, радостно улыбаясь, Олпан-бек. — Мой Хасан только что принес добрую весть: Халиль удавился в темнице своей цепью!

— Прекрасная весть.

— Но это обошлось мне так дорого, как если бы цепь, удавившая проклятого мальчишку, была из чистого золота!

— А ты не думаешь, что даруга успел кое-что выпытать у Халиля, прежде чем того удавила твоя золотая петля?

— Нет, не думаю. Халиль знал, что одно его лишнее слово будет стоить жизни его матери, брату, сестре. — Олпан-бек пожал плечами. — А впрочем, поручиться можно только за мертвых...

— Да, только за мертвых. — С этими словами Мелкум-бек протянул брату небольшую грамоту со сломанной печатью.

Олпан-бек развернул грамоту и стал читать ее. По мере чтения лицо его становилось все более хмурым и озабоченным. Наконец он злобно бросил грамоту на стол.

— А, старая, седая крыса! Этот проклятый даруга посмел настрочить на меня донос шахиншаху!

— Это не пустой донос, брат. Это показание Халиля, данное им лангерудскому даруге при свидетелях. К счастью, мне удалось задержать гонца, когда он мчался через Казвин...

— Подумаешь — показание! — Олпан-бек вскочил с подушек и в гневе топнул ногой. — Неужели ты думаешь, что шах поверил бы показанию простого воина, данному под пыткой и полученному ничтожным лангерудским даругой! Шах любит меня и верит мне безгранично!

— Ты плохо знаешь Аббаса, брат. Он любит, пока любит, и верит, пока верит. Вот потому-то я и перехватил грамоту даруги...

— Он пошлет другую!

— Я постараюсь перехватить и другую.

— Даруга пошлет третью!.. А может, заткнуть ему рот золотом?

— Ты не знаешь лангерудского даругу, брат. Он из тех, кто считает, что Аббас призван аллахом дать силу нашей стране, которой лишил ее Стамбул. Ты же знаешь: таких сейчас тысячи и тысячи, они идут за Аббасом, как стадо за пастухом. Эти безумцы не понимают, что любимец аллаха — не Аббас, а великий повелитель Османской Порты, слава и прибежище правоверных, хранитель истинной веры! Нет, даругу золотом не купишь, брат.

— Так надо его уничтожить!

— Он хитер и к тому же настороже сейчас... Ничего, брат, придет и наша пора, тогда каждому воздадим по заслугам!

— Когда еще настанет эта пора, брат! А я хочу жить сегодня. Но для этого мне нужно много, много золота. У султана же в сундуках золота куда больше, чем у шаха. Вот и помоги мне запустить туда руку... — Олпан-бек громко расхохотался, — до самого плеча!

— Эх, брат, ты все тот же, годы и события идут мимо тебя...

Вошел слуга и доложил о приходе Реджеб-аги. Вслед за султанским посланцем явился и Антони Ширли.

Пока дородный Реджеб-ага усаживался на подушки, сэр Антони завязал с братьями живую беседу.

— Хвала огненной немочи! — воскликнул он весело. — Она сохранила мне целый мешок золота. Самая умная и отчаянная голова не смогла бы придумать того, что сделал простой случай. Но вы не унывайте, достойный Олпан-бек, в следующий раз вам выпадут более счастливые кости...

— Они уже выпали мне, сэр Антони, — холодно отозвался Олпан-бек. — Огненная немочь...

— Уж не хотите ли вы сказать, что вы сами напустили ее на царских послов?

— Именно это я и хочу сказать.

— Ну, не думал я, что вы считаете меня таким простаком! Ваш брат знает меня лучше. Пусть он скажет, можно ли упрекнуть меня в наивности?

— О нет, сэр Антони! Но на этот раз вы просчитались. Я могу подтвердить, что Олпан-бек...

— Уподобился на этот раз самому аллаху? О Мелкум-бек!

— Уверяю вас, сэр Антони, что...

— Ни слова больше, Мелкум-бек! Я плачу. Плачу

единственно из уважения к вам. Но зато оставляю за собой право считать отныне досточтимого Олпан-бека наместником аллаха на земле!.. Итак, все царское посольство, до последнего человека, растаяло в пути, не дойдя до Казвина?

— Не совсем так, человек двадцать доберутся сюда. Из них около половины тяжело больны и вряд ли выживут. Но все это — неграмотные мужики и простые, невежественные воины. Они просят шахиншаха через пристава Шахназара отправить их обратно в Москву. Но шахиншах не дал согласия, и я поддержал его в этом...

— Правильно сделали, — отозвался молчавший до сих пор Реджеб-ага. — Надо же узнать, что за грамоты везли с собой послы, о чем пишет царь шаху Аббасу! Пусть золото, которое я неведомо за что отдал Олпан-беку, пойдет в уплату за эти грамоты...

— Вот это правильно, Реджеб-ага! — воскликнул Антони Ширли. — Пусть и мое золото будет платой за открытие тайны московского посольства!

— Высокочитимый Реджеб-ага и сэр Антони Ширли, — сказал Мелкум-бек, — лично я не получил от вас ни единой крупницы золота. Между тем содержание царских грамот есть великая тайна, и цена этой тайны...

— Я вижу, Мелкум-бек, — со злостью прервал Антони Ширли, — что теперь уже вы намерены содрать шкуру с меня и с Реджеб-аги!

— Повторяю, — с достоинством продолжал Мелкум-бек, — цена этой тайны велика, потому что посольские люди, после смерти послов, не считают себя вправе вручить царские грамоты шаху...

— Бросьте, Мелкум-бек! Будто вы не знаете, что эти московские мужики дадут вам прочесть все свои грамоты за один бурдюк молодого вина!

— Что ж, в таком случае это моя удача, — отозвался Мелкум-бек.

— Вы, видно, забыли, Мелкум-бек, что у нас с вами общее дело, — хмуро сказал Реджеб-ага. — Что, его величество султан ждет от нас...

— Я требую от вас немногого, дорогой Реджеб-ага, — прервал его Мелкум-бек: — вы должны сообщить султану, что содержание московских грамот стало известно вам от меня — от меня одного! Знайте, обмануть меня вам не удастся: у меня есть глаза и уши в Стамбуле. От вас же, сэр Антони... Ваша страна так богата...

— Понятно, Мелкум-бек, можете не продолжать... А как вы, Реджеб-ага: согласны исполнить просьбу Мелкум-бека?

— У меня нет другого выхода, сэр Антони...

— Значит, мир и согласие! — заключил Антони Ширли. — Поздравляю вас, Мелкум-бек, с самой выгодной сделкой на свете!

— Благодарю. Только не забудьте, сэр Антони, рассчитаться сегодня же с Олпан-беком. Он завтра уходит в поход.

— Рассчитаться? За огненную немочь? О, неужели наместник аллаха нуждается в деньгах?.. Хорошо, хорошо, рассчитаюсь, не глядите на меня так сердито, досточтимый Олпан-бек!..

25

В пути от Дилемана до Казвина не стало еще пяти посольских людей, в их числе и Степана Свиридова, толмача, доброй души человека. Всего под Казвин пришли пятнадцать посольских людей, из них девять хворых.

Был поздний вечер, когда вдали возникло множество неярких, будто движущихся огней.

Ивашка Хромов, уже крепко сидевший в седле, тронул за плечо ехавшего рядом Кузьму:

— Уж не Казвин ли?

— Похоже, Казвин.

— У-у, в экую даль занесло!

Огни все приближались, поезд неожиданно втянулся в слободу: все те же узкие улочки и переулки, тесно уставленные слепыми глиняными домиками, что и в Дилемане и в других попутных персидских городках. Тут за пять верст от Казвина на подворье¹ и поставил Шахназар посольских людей, обещав, что наутро явится за ними сам Мелкум-бек.

Как ни устали люди, а ночь провели без сна, в тревоге. Хворым не спалось, здоровые на все лады судили и рядили о том, что их, безначальных, ждет впереди; как вести себя, чтоб и шаху не в обиду было, и Москве не в поруху...

А на рассвете, чуть смежили посольские люди тяжелые веки, разбудило их конское ржание, громкая чужая речь. На маленькой площади, где стояло подворье, дыбились невысокие стройные кони, крытые пестрыми попонами, ослепительно горевшими на солнце. Среди коней сновали рослые, нарядно одетые люди. Уж не сон ли то снится? Не сказка ли видится?

— То аргамачи шаховой конюшни для посольских людей, — сказал явившийся на двор Шахназар дворянину Вахрамееву, которого после кончины толмача почитал среди посольских людей за старшего. — Прикажи своим людям садиться на коней, а хворых мои конюхи сами усадят. Я поведу вас в Казвин.

— Ладно, прикажу, — важно приосанясь, сказал Вахрамеев. — Только отбери мне коня покрасивше да попонку побогаче, чтоб всякому видно было: Григорий Вахрамеев едет...

И двинулись московские люди на шаховых конях в Казвин-город.

¹ Подворье — изба для проезжих.

В версте от слободы посольский поезд повстречал казвинский воевода Мелкум-бек, шахов ближний человек; а за ним ехали множество конных шаховых слуг в красных шапках. Увидев посольских людей, Мелкум-бек, важный, рослый персиянин, осадил своего коня, и тотчас весь его отряд стал на месте как вкопанный.

— А ты езжай, — шепнул Шахназар дворянину Вахрамееву, выступавшему впереди поезда на сером красавце коне. — Как подъедешь к Мелкум-беку, стань на месте и поклонись ему, не жалея спины, ближе его у шаха никого нет...

— Сам знаю. — Вахрамеев припустил своего коня.

Подскакав к Мелкуму, он отвесил ему низкий поклон, чуть не стукнувшись лбом о конскую гриву. Мелкум в ответ чуть кивнул, повернул своих людей, а сам поехал рядом с Вахрамеевым по правую сторону, по левую ехал Шахназар.

В Казвин втянулись неприметно: город не был обведен стеной и даже не охранялся стражей.

— Город великий, а стен не имеет! — подивился Вахрамеев, обратясь к Мелкум-беку. — Это почему же так?

Шахназар перевел его слова, и Мелкум, глядя перед собой, сказал:

— Славнейшему из славных, светочу вселенной, шаху Аббасу не страшны никакие враги.

— А-а... — отозвался Вахрамеев. — Я так и подумал.

На улицах, по обе стороны, стояли люди всякого звания. Одни кричали приветствия, другие били в наказы и играли на зурне.

Мелкум-бек проводил государевых людей на посольское подворье. Тут им была приготовлена всякая еда, мягкие постели-кошмы, в больших деревянных чанах горячая вода для мытья, отдельные покои для хворых и здоровых, а для оставшихся четырех кречетов — живые куры и голуби.

Славный был отдых после многодневного страдного пути! Здоровые наелись досыта, помылись добела, разошлись по своим покоем и улеглись спать на мягкие шерстяные кошмы, постеленные на чисто выскобленном полу. Полегчало, верно, и хворым; они обрели наконец покой и кров и утолили жажду присланным из шахова дворца целительным вином.

Кузьма и поп Никифор поселились в одном покое и при себе хранили коробью с посольскими бумагами.

Проснувшись на рассвете, Кузьма принялся будить храпевшего попа Никифора:

— Вставай, отец Никифор, вставай же! Наказ читать будем!

Но Никифор продолжал храпеть. Тогда Кузьма ухватил его за ноги и стащил с кошмы на пол.

— А-а? Что такое? — Никифор вскочил с полу, бросился к коробье и схватил ее руками. — Что случилось?

От зычного голоса Никифора проснулись и все остальные посольские люди. Из соседнего покоя притащился заспанный, хмурый Вахрамеев.

— Чего раскричались, сороки? — спросил он сердито. — Сон доглядеть не дали, суматошные! От шаха, что ли, какая весть?

— Отец Никифор наказ читать будет, — спокойно сказал Кузьма.

— С того и суматоха? — еще сильнее озлился Вахрамеев. — Экое дело — наказ читать! Я и без наказа с посольским делом управлюсь, а вам, мужичью, наказ и во все не к чему! Ишь, послы выискались...

— Видали мы, Вахрамей, как ты посольское дело правишь, Москву срамишь! То-то при живых послах тебя не видать, не слышать было, небось они знали тебе

цену... — Кузьма повернулся к Никифору: — Поснедаем и за дело, отец Никифор!

Вахрамеев, зашедшись от гнева, что-то бормотал онемевшими губами, пока наконец не выкрикнул:

— Да я тебя... да я тебя... батожьем! Вот ужю велю Мелкумке, он на тебе живого места не оставит, наглый мужик, стоерос! — Он передохнул, затем продолжал спокойнее: — Да ты в своем ли уме, дурья твоя голова? Да ведаешь ли, кому дерзости сказываешь? Я же двоюродным племянником прихожусь великому послу государеву, князю-боярину Тюфякину, упокой господи его праведную душу! А ты кто есть? Тля, пыль дорожная, прах земной!..

Кузьма шагнул к Вахрамееву и положил ему на плечо тяжелую руку. Тот в испуге пригнулся.

— Вот что, боярский племяш, отцепись от меня, не вводи в грех, — произнес Кузьма с угрозой. — Не нужен тебе наказ — ступай в свой покой, сон доглядывай. — Он повернул Вахрамеева и чуть подтолкнул в спину.

Вахрамеев, что-то бормоча про себя, выбежал из покоя.

— Вот тебе и пыль дорожная! — Ивашка прыснул от смеха. — А сам пятки кажет, родич боярский!

Кузьма цыкнул на него, но Ивашка не унимался, его так и разбирал хохот.

— Помолчи, стрелец, — степенно сказал Петр Марков, кречетник, любивший во всем лад и порядок. — Не пристало тебе над дворянином тешиться...

— Сказано — заткнись, Ивашка. — Поп Никифор схватил согнутой в локте рукой Ивашкину шею и громадной ладонью зажал ему рот, пока Ивашка не посинел от натуги. — Так-то лучше... А теперь за трапезу!

Трапезовали в большой палате, которая стала местом сбора всех посольских людей: из нее вели двери во все остальные покои, и один ход — прямо на улицу.

Когда насытились, смиренный чернец Кодя, единственный оставшийся в живых из всего Никифорова причта, прибрал со стола посуду и оставшуюся снедь.

— Приступим к наказу, братие.

Никифор расправил на столе длинные столпцы и, водя по ним пальцем, принялся медленно читать наказ. Читал час, другой, третий, а люди слушали всё с тем же прилежным вниманием, не отводя глаз от чтеца.

— «...А ежели Аббас шах, в то время как послы придут в Персиду, будет в дороге и велит им быть у себя на посольстве в дороге, а сам будет в то время сидеть на коне, то послам в то время на посольство не ходить, а говорить приставам и ближним шаховым людям, что шах делает не по прежнему доброму обычаю и тем великому государю-царю Федору Ивановичу, всея Руси самодержцу, нелюбовь сказывает...»

— Я так понимаю, — прервал чтеца Петр Марков, кречетник, любивший во всем полную ясность. — Нельзя, чтобы шах сидел на коне, когда государевых послов принимает. Верно я говорю?

— Понятное дело: нельзя, — отозвался Кузьма.

А Никифор продолжал:

— «...Ежели пристав или шаховы люди станут говорить, что им, послам, шаха целовать в ногу, как то у шаха в обычае ведется, то им, послам, Василию Тюфякину и дьяку Семейке Емельянову, на том стоять накрепко и в ногу шаха не целовать...»

— Вот еще дело какое! — вскричал Ивашка и даже вскочил со скамьи. — Где же это видано, в ногу целовать!

— Помолчи, Ивашка, — сказал поп Никифор, подняв голову от столпцов и не отводя пальца от строки. — Вольному воля: кому в охотку, пускай куда хошь целует. А московским послам не подобает, потому что царство наше сильное и великое...

— А я не так понимаю, — отозвался Кузьма Изотов. — Дело не в том, что царство наше сильное. Иное, хоть и малое царство, честь свою превыше всего ставит, и потому великим и сильным становится. А иное, пусть и великое царство, ради корысти или страха поступается честью, и потому нет в нем настоящей силы... Поведал мне один старец многознающий и большой грамотей. В давнее время, когда Русь еще под татарами была, рязанский князь Олег всячески угождал хану татарскому и то же своему люду наказывал, а вот Дмитрий — князь, сидевший в Москве, и сам не гнул головы перед татаринном и в том же свой народ наставлял. Вот и случилось: Олег потерял свое княжество, а Москва сокрушила татар и всю Русь вокруг себя собрала...

— Ишь, ты... — бормотнул поп Никифор, выкатив на Кузьму серые, в красных прожилках, глаза. — Вот ты, оказывается, речистый какой!.. Что же, братие, устали? Иль дале читать?

— Читай! Читай! — раздались голоса.

Уж смерклось в покое, и Никифор все ниже и ниже склонял голову над столпцами, а люди все сидели да слушали.

— «...А если спросят, как ныне государь с Рудольфом-цесарем? И послам князю Василию и дьяку Семейке говорить: цесари римские издавна с великими государями нашими в дружбе и в любви бывали, а ныне Рудольф-цесарь и того более с великим государем нашим в дружбе и любви находится...»

— Что за цесарь такой... Ру... дольф? — спросил Кузьма. — Имя, что ли, такое?

— Кесарь Рудольф, — пояснил поп Никифор, подняв от столпцов указательный палец, — считает себя преемником римских кесарей, а есть он...

— Это нас не касается, — прервал Петр Марков, кречетник. — Мы не послы. Этак от многого знания в уме

зайдешься. У нас одно дело до шаха: отпусти, мол, нас на Москву, и все тут.

— Может, и не касается, — отозвался Кузьма, — а знать не мешает. Авось пригодится; вдруг не сразу отпустит нас шах домой, а наперед к себе позовет?

Когда поп Никифор делал короткий отдых и на миг в палате водворялась тишина, из соседнего покоя доносился залиvistый храп дворянина Вахрамеева.

За два долгих дня поп Никифор семь раз прочитал людям наказ от слова до слова. А на утро третьего дня, к удивлению всех, поп Никифор уселся на пол. Подогнув под себя и скрестив ноги, он откинул волосатую голову, принял важный, гордый вид и подозвал Кузьму:

— Стань-ка, Куземушка, против меня, вот так. И знай — я есть шах персидский, а ты есть посол московский. Отвечай, для чего прибыл в мое царство? Какую весть принес мне от друга моего любительного, государя-царя всея Руси? Какая у тебя кручина-забота и что надобно тебе от моего шахова величества...

— Не шуткуй, поп, — нахмурился Петр Марков, крепетник, человек дюже серьезный. — Не срами свой сан.

Ивашка, глядя на попа, сидевшего на полу со скрещенными ногами, зашелся в хохоте; ухмылялся и Кузьма. На громкий Ивашкин хохот вбежал в покой дворянин Вахрамеев.

— Ты что ж это, поп? — сердито закричал Вахрамеев. — Не ровен час, на подворье Мелкум-бек прибудет, а ты из себя скомороха строишь... посольское звание мое срамишь...

— Так это ты, значит, есть посол московский? — Поп Никифор будто удивленно оглядел Вахрамеева. —



Поп Никифор уселся на пол и подозвал Кузьму.

В таком случае отвечай, Вахрамей, моему шахову величеству: для чего прибыл в мое царство персидское? Не робей, не спеши, могу и подождать...

Вахрамеев и верно смутился, стоя перед шахом-попом.

— Нечего из себя строить, — пробормотал он, — не ровен час...

И вдруг, озлившись, злобно заорал:

— Вставай с полу, говорю тебе, чертов поп! А не то...

Но Никифор напустил на себя еще больше важности:

— Спрашиваю тебя: для чего в мое царство прибыл? Молчишь? То-то и оно-то! Сейчас я дознаюсь, кто есть истинный посол московский... Ответствуй, Куземушка: для чего прибыл ко мне, в мое царство?

Кузьма давно понял, что вовсе не для забавы уселся Никифор на пол и назвался шахом.

Выгнув грудь, он с почтительной строгостью отвечал:

— Послан я из Москвы государем-царем для установления с шаховым величеством крепкой дружбы и вечного против общих врагов соединения...

— Так, Куземушка, ладно с шахом разговариваешь... Слыхал, Вахрамей?

— Экое дело! — Вахрамеев презрительно ухмыльнулся, наконец-то и он понял, что за игру затеял Никифор. — Да это же всякий дурак ответит...

— Вот и отвечай, — подхватил поп. — Скажи-ка мне, шахову величеству, о здоровье государя-царя!

— Чего сказывать-то? Ну, здоров, благодарение господу, государь-царь...

— И дурень же ты, Вахрамей, мало что дворянин! — Поп даже сплюнул в досаде. — «Без на-ка-за все знаю-ведаю»... Коровья твоя башка! — Он повернулся к Кузьме. — Скажи-ка ты мне, Кузёмушка, здоровье государя-царя.

— Изволь... — Кузьма помолчал, подумал, затем отчетливо, без запинки, произнес точно по наказу: — Как поехали мы из Москвы от великого государя-царя Федора Ивановича, самодержца всея Руси, и великий государь наш, его царское величество, на своих преславных и великих государствах российского царствования, дал бог, в добром здравии!..

Все ошеломленно молчали, даже сам Кузьма просветлел лицом, что сумел сказать в строгом, должном порядке эту длинную и внушительную фразу.

— Да-а... — только и сказал Ивашка, во все глаза глядя на Кузьму.

— Садись, Куземушка, будешь гостем, — все еще ведя игру, проговорил Никифор. — Потчевать тебя не стану, ешь-пей, сколько твоей душеньке угодно, да и милостью своей, шаховой, тебя не оставлю... — Затем, оборотясь к Вахрамееву, сокрушенно покачал головой: — Эх ты, княжий племяш...

— А я так скажу, — заметил Петр Марков, кречетник. — Не всякому боярину или дьяку такое под силу. Шуточное ли дело! И как это только случилось с тебя, Кузьма...

Дверь в палату неожиданно распахнулась, и посольские люди увидели пристава Шахназара. За ним на дворе виднелись с десяток богато одетых всадников, в красных шапках, с длинными саблями на боку. Переступив порог, Шахназар склонил голову и ударил себя рукой в грудь.

— Мелкум-бек! — возгласил он громко и торжественно и отступил от двери. — Шахов ближний человек, глаза и уши светоча вселенной!

Поп Никифор едва успел вскочить с полу, как в палату шагнул Мелкум-бек в сопровождении двух воинов-телохранителей.

Войдя, Мелкум-бек склонил по обычаю голову и при-

ложил руку к груди. Посольские люди вежливо поклонились ему в ответ. Крупное, хитрое лицо Мелкум-бека выражало притворную скорбь, казалось, он принес посольским людям дурную весть и медлит поделиться ею.

Никифор мигнул чернецу Коде, тот птицей подлетел к важному гостю и подставил ему табурет. Мелкум-бек присел, воины стали по обе его стороны и застыли.

И тотчас же Кузьма, притянув к себе длинную, пудовую скамью от стола, также уселся и усадил стоявшего рядом кречетника Маркова. Ивашка не стал ждать и плюхнулся на скамью рядом с Кузьмой.

— А ты чего не садишься? — повернулся Кузьма к оробевшему вдруг попу.

— Могу и постоять...

— Садись! — резко сказал Кузьма. — Иль наказ позабыл?..

И тогда Никифор, робко глянув на стоявшего в рост Вахрамеева, присел на самый краешек скамьи.

Но Мелкум-бек словно не заметил этого.

— Кто из вас старший по званию? — спросил он чуть слышным голосом, глядя мимо всех на стоящего в рост Вахрамеева. — С кем я могу говорить от лица шах-Аббасова величества, солнца вселенной?

Шахназар перевел вопрос и сам, не дожидаясь ответа, указал рукой на Вахрамеева. Тот шагнул вперед, обошел скамью и стал перед Мелкум-беком.

— Дорогой друг мой, — начал Мелкум-бек. — Я явился к тебе по велению шахиншаха, светоча мира, чтобы выразить...

На этом Мелкуму пришлось прервать свою речь.

— Сядь, Вахрамей, — шепотом, но так, что слышали все в покое, сказал Кузьма. — Сядь, говорю, не срами посольской чести!

Вахрамеев, выкатив на Мелкум-бека глаза, не двигался с места.

— Чтобы выразить... — повторил Мелкум-бек.

И тут Кузьма, не вставая, ухватил Вахрамеева за пояс, притянул к себе и силком усадил на скамью.

— Знай сиди, не то худо будет...

Мелкум-бек по-прежнему делал вид, что ничего не видит и не слышит. Но лицо Шахназара, обычно кроткое, вдруг исказилось злобой. Он подбежал своими маленькими шажками к Кузьме и крикнул:

— Как посмел ты, дерзкий мужик, прервать слово Мелкум-бека! Его шахово величество прикажет тебя за это жестокой казнью казнить!

— Не встревай, пристав, — спокойно сказал Кузьма и отвел от себя Шахназара рукой. — Это тебя не касается. Передай Мелкум-беку: нет среди нас старшего. Нам всем четверым завещал подьячий просить у шаха отпуск в Москву. А подьячему — так и скажи Мелкуму — завещал посольство дьяк, а дьяку — князь-боярин, а князю-боярину — государь-царь. Понятно?

— А я тебе говорю...

— Молчи, пристав, — сказал грозно Кузьма. — Передай Мелкуму, что велено.

Шахназар отошел к Мелкум-беку и, почтительно склонясь, зашептал ему на ухо. Ни одна черточка не дрогнула на лице Мелкум-бека.

— Друзья мои, — заговорил он снова. — Я должен причинить боль вашему сердцу: его величества шахиншаха, солнца вселенной, нет сейчас в Казвине. Когда дошла в Казвин страшная весть о смерти великих послов, сильно горевал о том шахиншах и говорил ближним людям своим: «Знать, много я согрешил перед аллахом, что не велел мне аллах видеть великих послов брата моего и о братнем здоровье от них узнать. Никогда еще, говорил шахиншах, не было у меня такой скорби, да верно и впредь не будет. Радовался я в ожидании великих послов брата моего, но аллах превратил

мою радость в безысходное горе». От той великой скорби отправился шах с войском в поход против своего недруга, царя курдистанского. А мне, холопу своему, приказал беречь вас пуще глаз моих. Вы не печальтесь, что шаха здесь нет. Окажет бог милость, и шах Аббас вернется с победой и вас, посольских людей, пожалует и всякую нужду вашу исполнит...

Сказав все это одним духом и дав Шахназару время перетолмачить свою речь, Мелкум-бек поднялся с места. Тотчас же встал со скамьи и Кузьма, а следом за ним и поп, и остальные посольские люди.

— А приставом у вас шах приказал быть Алихану, — добавил Мелкум-бек уже обычным голосом. — За всякими нуждами вам следует ныне обращаться к нему...

Шахназар выбежал из покоя и тотчас же вернулся, ведя за собой рослого, дородного персиянина с ястребиным носом и быстрыми, косыми глазами.

Войдя, Алихан низко склонился и с силой ударил себя в грудь, как бы предавая себя на милость посольских людей.

— Послушай, Мелкум-бек, — сказал Кузьма, видя, что Мелкум-бек готов покинуть палату. — Мы не послы и посольского дела править не можем. Пошли к шаху гонца и передай, что мы просим отпустить нас в Москву. Так повелел нам перед кончиной своей великий посол.

— О том шаху известно, — коротко ответил Мелкум и вышел из палаты. За ним — телохранители, Шахназар и Алихан.

На утро следующего дня поп Никифор, прочитав вслух еще раз весь наказ, принялся писать статейный список, прерванный смертью подьячего Ондreja Дубров-

ского. Составляли список все вместе, грамотей поводил пером по бумаге. Время от времени, отложив перо, он читал написанное вслух, для проверки.

— «...И того же дня пришли в Дилеман-город, верст с семьдесят, а всё на гору ехали, — читал ровным, бесстрастным голосом. — А до Дилемана едучи, схоронили девять человек: Емелю-плотника, да Лексея-кречетника, да боярского сына Микешу, да Тимоху-стрельца...»

— Эх, Тимоха дружок! — горько вздохнул Ивашка Хромов. — Наш, одоевский...

— «...соболящика Еремина Федора, городских дворян Алябьева да Коротеева, да Илью... Илью-отрока...»

Тут голос Никифора дрогнул, он низко склонил над столом свою большую, лохматую голову. Все с полминуты молчали, потом Кузьма сказал:

— Еще Василий Ус, стрелец, помер...

— Верно, Василий Ус, стрелец, — отойдя сердцем, подтвердил Никифор. — Да еще Григорий, боярский сын... Так? — Он обвел людей вопрошающим взглядом.

— Верно! Правильно! Давай далее!

— «...И в Дилемане-городе стояли четыре дня. А в Дилемане умерли семь человек: подьячий Ондрей Дубровский, да Ивашка Конь, да трое челядинцев, да двое стрельцов, Петруха и Никанор Кривой... В Дилемане-городе и схоронили их».

— Схоронили-то потом, — прервал Петр Марков, кречетник, любивший во всем порядок. — А ранее того подьячий призвал к себе...

— Погоди, не толкай в плечо!.. «А отходя с сего света, — продолжал Никифор, — подьячий Ондрей Дубровский в Дилемане-городе призвал толмача Степана Свиридова, также больного, Кузьму Изотова — стрелецкого десятника, Петра Маркова — кречетника, черного

попишку Никифора и дворянина Вахрамеева Григория...»

— Это чего ж ты напоследок меня написал, поп, а Куземку-стрельца первым? — вскочил с лавки Вахрамеев. — Виданное ли дело? Я же дворянин, князю-боярину родич, главный среди вас человек!

— По породе честь, Вахрамей, да и бесчестье по породе, — спокойно отрезал поп. — Как скажете, братие?

— Верно! Правильно, поп!

Никифор отложил столбец и взялся за следующий:

— «...и отдал черному попу Никифору государевы к шаху грамоты и наказ и сказывал: говорю вам по слову великого посла, дьяка Семена Емельянова...»

В покой вошел чернец Кодя и сказал, что явился на двор некий человек и спрашивает московских послов.

— Кто такой? — спросил Кузьма. — Какой из себя?

— По важной, говорит, надобности. А какой из себя, не скажу...

Кузьма встал, одернул на себе кафтан:

— Придержи его малость, а потом пусти в палату.

По примеру Кузьмы и остальные стали приводить себя в должный вид: поп расчесал деревянным гребнем включенные волосы, Вахрамеев стянул на толстом животе пояс и огладил бороду, Ивашка откинул упавшие на лоб кудри, а кречетник, и без того бывший в должном порядке, напустил на себя больше важности.

Вскоре в палату вошел полный, невысокого роста человек с холеным, белым лицом. За ним шел худой, как жердь, с темным, словно обугленным, лицом персиянин в старом, латаном халате.

Переступив порог, человек скинул с головы большую шляпу с пером и низко поклонился; отведя назад правую ногу; при этом он широко улыбнулся и произнес что-то на непонятном языке.

— Голландский купец ван Динтер приветствует мос-

ковских послов, — глухим, загробным голосом перевел худой персиянин.

— За привет благодарствуем, — ответил Кузьма.

— О-о! — восторженно воскликнул иноземец, словно Кузьма осыпал его золотом, и вслед за тем сказал еще что-то на своем языке.



— Господин ван Динтер, в свою очередь, благодарствует, — перетолмачил переводчик. — Он хотел бы знать, с самим ли московским послом имеет честь и счастье говорить?

— Послы царские умерли в дороге от огненной немочи, — ответил Кузьма.

— О-о! — Лицо иноземца мгновенно померкло и скривилось в горестной гримасе. — Какое горе! Какое ужасное горе! — Иноземец помолчал немного. — Простите, как позволите именовать вас?

— Изотов Кузьма.

— Я не ошибусь, — переводил персиянин, — если скажу, что господин Изотов Кузьма после смерти послов является их законным преемником?

— Пусть скажет, что ему надобно.

— Господин ван Динтер интересуется, связан ли приезд московского посольства с торговыми делами?

— А на что ему знать о том?

— Господин ван Динтер скупает в Персии большие партии сырого шелка и возит его на продажу в разные европейские страны. Он может, конечно, вывезти закупленный шелк через турецкую землю, но предпочел бы через Московию. Ему известно, что правительство его страны, Голландии, не раз обращалось к московскому царю с просьбой пропустить голландских купцов через Архангельск, волжским путем, в Персию и тем же путем обратно в Голландию. Вот почему господина ван Динтера интересует, не известно ли вам, господин посол, что-либо о пропуске через Московию голландских купцов с шелковым товаром из Персии...

Кузьма, не знавший доселе никакого иного государственного дела, кроме бранной и сторожевой службы, не все понял в этой речи, но главное ухватил.

— А почему не хочет купец через турецкую землю ехать?

— Турки сами для своей выгоды скупают в Персии шелк и потому дерут с иноземных купцов семь шкур за проезд.

— А разве Москва не скупает шелк? — И Кузьма наугад добавил: — Скупает же!

— Верно, скупает. Ведь у вас сам царь — главный купец по шелковому товару.

— Знаю о том, — сказал Кузьма, никогда о том не слыхавший. — Так что же?

— А то, что Москва и сама торгует, и другим дает торговать, а турецкий султан жаден, хочет все сам проглотить. А еще турки потому стремятся одни торговать с шахиншахом, чтобы шах и в этом зависел от турка. Ведь сырой шелк — это золото Персии, главное богат-

ство ее. Выходит, и шахиншаху есть выгода в том, чтобы царь пропускал голландских купцов через Русь. И если только московский посол с дружбой прибыл от царя к шахиншаху...

— Передай купцу, что наши купцы и сами могут персидский шелковый товар скупать, и шаху от того худо не будет: лишь бы скупали... А просьбу его доложим в Москве, кому надлежит. — Он повернулся к попу. — Запиши, Никифор, о том в статейный список.

Иноземец, с трудом скрывая свое недовольство, снова снял мудреную шляпу с пером, склонился в поклоне, отставив правую ногу, и пошел к двери.

Тут он столкнулся с другим иноземцем, худым и длинным. Они враждебно, как два петуха, оглядели друг друга и отвернулись.

Вошедший иноземец бросил короткую, властную фразу старику переводчику, уже шагнувшему к порогу, и повернул его назад. Выйдя на середину палаты, иноземец отвесил посольским людям неглубокий поклон:

— Сэр Ричард Форстен, английский купец, приветствует досточтимых московских послов, к которым имеет важное дело.

Вслед за этим переводчик изложил, со слов купца, и самое дело: купец явился получить пропуск на проезд через Московию, в Архангельск, к холодному морю, с большой партией персидского шелка-сырца. Но, узнав, что великие послы царские скончались в пути, купец долгом своим почитает предостеречь их преемников от доверия к голландским купцам: это великие обманщики, негодяи, просто сказать — подлые псы. А вообще говоря, сэр Ричард Форстен, богатейший купец, может во многом оказать помощь послам, если только они откроют ему, для чего присланы к шаху в Казвин...

— Скажи господину купцу, — отвечал Кузьма, — что просьбу его о пропуске на Архангельск с персидским то-

варом мы доложим кому следует в Москве. А о прочем скажи, чтоб он шел подобру-поздорову с подворья...

Когда удалился и второй иноземец, Кузьма озабоченно подергал себя за бороду:

— Ан-глин-ской... голланской... Поп, а поп, где ж их земли лежат? Далеко ли?

— Далече. За морями, за горами...

— За морями, за горами... — насмешливо повторил Кузьма. — Эх, без пути-дороги ходим, как в дремучем бору, того и гляди в болото ступишь! А тут еще и без толмача. Чужой-то толмач чего хочешь наплетет, не узнаешь!

— Зачем тебе толмач? — Поп широко зевнул и перекрестил рот. — Вернется шах из похода, да враз и отпустит домой, на Москву.

— Твоими устами да мед пить, Никифор. Сдается мне, не прямой нам путь на Москву уготовлен, да не накатанный...

29

А в дальнем покое по ту сторону дворика, делившего дом на две половины, томились в смертной муке больные посольские люди. О них с усердием заботился все тот же тихий, безответный чернец Кодя: поил водой, смешанной с вином, кормил с ложки разваренным рисом, расчесывал спутанные волосы и свалявшиеся бороды. Раз в день являлся с шахова двора лекарь, старый, ветхий персиянин. Он мудрствовал над больными, совал им в рот какое-то пахучее зелье и уходил, опираясь на палку и с трудом волоча ноги. А на третий и на четвертый день, как прибыло посольство в Казвин, умерли один за другим все девять больных.

Решено было, что хоронить умерших отправятся поп Никифор, Кузьма и Ивашка, а Петр Марков, Вахрамеев

и Кодя останутся на подворье стеречь коробью с посольскими бумагами.

И вот трое посольских людей с непокрытыми головами пошли на другой конец города Казвина, на армянское, христианское кладбище вслед за повозкой, груженной девятью мертвыми телами и запряженной верблюдом, на котором сидел мальчонка-возничий.

Шли краем города, около безлюдного, пустого поля, по щиколотку уходя ногами в песок. Впереди широко шагал поп Никифор, держа крохотную иконку Троиручицы, за ним Кузьма с Ивашкой.

Утро было жаркое, солнце припекало головы и спины, пот заливал глаза. Но люди шли бодро, не чувствуя усталости после долгого сидения на подворье.

К кладбищу подошли в полдень. Здесь, у кладбищенской стены, посольских людей ожидал пристав Алихан с двумя воинами и толмачом. Алихан так и остался за воротами: коран не позволял ему хоронить неверных. Армянские попы вышли навстречу погребальному поезду и предложили отпеть умерших в своем храме. Но это было не по обычаю, и посольские люди отказались: хоть и христианской веры были армяне, но иного толка.

Мертвецов, завернутых в саваны, Кузьма с Ивашкой сложили в общую, заранее выкопанную могилу без гробов на простой дощатый настил, прикрыв таким же настилом.

Никифор накоротке справил заупокойную службу. И тут невольно прокралась в души посольских людей горькая печаль о друзьях-товарищах, которым уж не увидеть русской, родимой земли.

После похорон армяне, выйдя из своего храма, где отстояли обедню, окружили посольских людей и стали спрашивать их о московском царе: не думает ли он оказать помощь их несчастным братьям армянам, у которых турки захватили землю и тысячами убивают и мучают.

Весь их народ, говорили они, христианской веры, почел бы за счастье стать под высокую руку царя московского.

— В мыслях царских читать не смею, — отвечал Кузьма. — Но твердо вам обещаю, что слова ваши дойдут до Москвы... — И тут же велел Никифору по возвращении на подворье вписать те слова в статейный список.

Когда посольские люди вышли из ворот кладбища, поджидавший их Алихан тронул коня и подъехал к ним.

— Что говорили вам армяне? — спросил он Кузьму через толмача, пытливо глядя на него своими недобрыми, косыми глазами.

— Прежде сойди с коня, пристав, — сказал Кузьма, — а уж потом спрашивай.

Алихан побагровел, но сдержал себя и легко, как заправский воин, соскочил на землю.

— Что говорили вам армяне?

— В моей воле, пристав, — сказал Кузьма, — отвечать тебе или нет. Но, уж если ты так любопытен, скажу: сетовали на турок, что захватили они армянские земли и лютуют над их родичами.

Алихан нахмурился и положил руку на гриву коня.

— Обожди, пристав, — тронул его Кузьма за плечо. — Прикажи твоему воину, чтобы проводил нас на подворье. Как бы нам не заплутать...

Алихан бросил короткую фразу воину.

— Да только пусть пеший пойдет, как и мы, а коня в поводу держит.

Невдалеке от подворья за посольскими людьми увязался какой-то человек, лет под сорок, ладный, широкий в плечах, в одежде персидского простолюдина. Он шел, не отставая, и прислушивался к их речи. Вдруг он сорвался с места, подбежал к Ивашке и обнял его.

— Господи пресвятой! — вскричал он по-русски. — Привелось-таки увидеть русских людей! Ведь вот ра-

дось-то какая! Государи вы мои милостивые, души мои родные, не чаял я, а привелось-таки встретить!.. Да скажи ты еще хоть словечко по-нашему, хоть полсловечка, братец ты мой, родная душа!..

Но не так-то легко было Ивашке и полсловечка сказать, пока не выскользнул он из объятий детины и не отдышался вдоволь.

— Да кто ты такой есть? — спросил Кузьма останавливаясь.

— Да Шорин же Серега, из-под Суздаля! Хрестьяне мы, из холопей боярских, морозовской вотчины!

— Из-под Суздаля? — подивился Кузьма. — А сюда-то, в Казвин, как тебя угораздило?

— А очень просто. Шестнадцать годов тому увели меня крымцы в полон, через малое время продали в турецкий город Смирну, а из Смирны тринадцать годов тому сбежал я к веницейцам, а с веницейской галеры — не приведи бог! — подался по ту сторону моря, к черным. Ан и там турецкое царство! Маялся я там год да еще год...

— А веру-то православную, святую соблюл? — строго спросил Никифор.

— Неужто нет? — В голосе Сереги Шорина прозвучала обида.

— А бороду не брил, как басурман поганый?

— Было такое... — смутился Серега. — На корабле... засмеяли, терпения не стало. А только борода, она что, вишь, отросла... А грех замолю, только бы до дому добраться.

— На каком таком корабле? — допытывался Кузьма.

— Заскучал я, значит, у басурман и опять же сбежал, на сей раз в Гишпанию. Да только и тут заскучал, а к тому еще иезуиты в их веру католицкую, поганую, совращали, тюрьмой да костром грозились. Подался я в город Лиссабон и нанялся на корабль матросом. На

том корабле плавал я в разные страны жаркие, Ост-Индия называется. И от чистого сердца скажу: много мест и людей повидать пришлось, а лучше нашего Суздаля не видал. . .

— Да неужто? — ухмыльнулся Ивашка.

— А то как же, — тихо и мечтательно сказал Серега. — Речка у нас тихая да чистая, под самой деревенькой течет, по ту сторону бор дремучий, земляникой да грибами пахнет. . . Да и то: среди своих живое слово от души к душе идет. Эх, да разве все скажешь! — Серега горько махнул рукой. — Изболелось сердце по родному краю. . .

— Понятное дело, — отозвался Кузьма. — А здесь-то, в персидском царстве, как очутился?

— Здесь-то? А очень просто. Как вернулся наш корабль назад, захватили его морские разбойники и опять же в полон продали меня, в Туретчину. Из Туретчины шесть лет тому бежал я сюда, в Персию, чтобы отсюда домой пробираться, на Суздаль. Да и застрял в Кашане-городе, у купца в услужении. Полюбился я купцу, отпустить не хотел. Да и мне, скажу, понравился здешний люд, хороший, обходительный, добрый народ. Но такая взяла по дому тоска, хоть в петлю лезь. И ушел я с месяц тому из Кашана в Казвин, чтобы отсюда к Хвалынскому морю идти. . . Да вот привалила радость, своих повстречал. Не пойму только я, как вас-то сюда занесло? Ты, я так понимаю, черный поп, а вы, по одежде помнится, будто стрельцы. . .

— Скажи-ка, Серега, — перебил его Кузьма, — ты здешнюю, персидскую речь понимаешь?

— Как не понимать! Я тут свою-то, родную, чуть не забыл. . .

— Ну, так будешь нам братом, Серега! — заключил Кузьма. — С нами жить станешь, с нами и на Русь возвратишься.

— Да кто вы сами-то будете? — озадаченно спросил Серега.

— Мы — посольство от государя-царя к шаху Аббасу, — важно сказал Ивашка.

— А сам-то посол царский примет ли меня? — в голосе Сереги звучала тревога. — Небось большой боярин, а то и князь.

— Какой такой боярин? — бахвалился Ивашка. — Мы сами и есть послы: Кузьма вот, Никифор, я...

— Господи боже! — Серега даже остановился. — Что же это такое за шестнадцать-то годов на святой Руси стало? Чтобы черный поп да стрельцы посольство правили... Нешто такое бывает?

— Всякое бывает, Серега, — сказал Кузьма.

30

Наконец прибыли на подворье отставшие в пути подводы с рухлядью. Одевшись в новое платье, посольские люди отправились гулять по Казвину. Ярче всех вырядился Вахрамеев; на нем был кафтан из розового атласа с высоким меховым воротником; поддевка под кафтаном из белого атласа; на голове бархатная черная шапка, отороченная мехом. На этот раз на подворье остался поп Никифор и чернец Кодя.

Перед выходом в город посольские люди строго-на-строго меж собой договорились: держаться вместе, вином не баловаться.

Город был большой, да неказистый, застроенный, подобно Дилеману, низкорослыми, безоконными домами, сложенными из необожженного, рыхлого, высушенного на солнце кирпича. Мощеных улиц не было вовсе, ноги глубоко вязли в песке. Грузный Вахрамеев в жаркой своей одежде обливался потом и клял Ивашку:

— Руки, что ль, отсохнут пособить дворянину, родичу князя-боярина! Подь сюда, окаянный!

— А ты бы брюхо на подворье оставил, княжий родич! — отвечал Ивашка. — Вот и полегче бы было!

Прохожие сразу заметили московских людей. Вскоре за ними шла по узким улицам разношерстная толпа, с любопытством смотревшая и на малиновые кафтаны стрельцов, подпоясанные белым тесмяком, и на зеленую ферязь¹ кречетника, и особенно на пышно разодетого брюхатого Вахрамеева, которого, видать, почитали великим послом московским.

— Глянь, Вахрамей, — потешался Ивашка, — похоже, тебя, петуха, за орла приняли!

— Молчи, смерд! Вот я тебя ужо на Москве...

— И-и, до Москвы далеко, с таким брюхом не доползешь! Туда и налегке-то намаешься!

— Вот ужо шаху нажалуюсь...

— Да кто ж тебя пред шаховы очи допустит, эдакого? Ежели всякий...

Но тут Кузьма крепко, до боли, прихватил Ивашкину руку.

— Помолчи, дурень. А то назад отошлю, на подворье!

Наконец посольские люди вышли на огромную площадь. На дальнем краю ее высилась мечеть, а рядом узкая и прямая башня-минарет с островерхим концом.

— А все пониже нашего Ивана Великого будет, — молвил Кузьма.

— Верно, пониже, — отозвался Петр Марков, кречетник, — а затейливей.

Несметное число людей толпилось на площади, отовсюду неслась громкая речь, слышались выкрики, смех, ругань. Кого только не было тут: купцы, монахи, воины,

¹ Фэрьяз — мужское платье с длинными рукавами, без воротника и пояса.



Несметное число людей толпилось на площади.

простолюдины, нищие, статные молодцы, древние старухи, страшные, как сама смерть, малые детишки, придулившиеся за спинами матерей, бедовые подростки, ловкие и верткие, как ужи; люди черные, люди желтые, люди смуглые. Здесь же в ряд стояли ишаки, мулы, верблюды, впряженные в повозки с сеном, хлопком и шелком-сырцом, сыромятными кожами, издававшими нестерпимое зловоние, и со всяким другим товаром. По площади в беспорядке было разбросано множество деревянных строений, больших и малых.

— То майдан, — пояснил толмач Серега. — Тут и торговые ряды со всяким товаром, и кабаки, и забавы, и гулянья. Тут же вершатся и казни, и народ со всего города топчется с рассвета до ночи. Одно слово — майдан!

Лишь только посольские люди вышли на майдан, замешались в его толчею, как им не под силу стало держаться вместе. Кузьма, на целую голову выше толпы, служил для своих маяком, и они с трудом пробивались к нему, чтобы не затеряться. Но вот Ивашку понесло по майдану, словно в бурную непогоду по морю Хвалынскому, и Кузьма с тревогой глядел, как относил друга все дальше и дальше...

Ивашка, впрочем, не очень-то и противился увлекавшей его волне. Он ошалел, охмелел от веселого шума, крика, говора. Его носило по всему майдану, от рядов к рядам, от балагана к балагану, от одной забавы к другой. Вот на площадке, обнесенной веревкой, кривляются фигляры, на другой глотают живых голубей, кроликов и ядовитых змей фокусники, на третьей, в кругу расступившейся толпы, обливаясь кровью, бьются насмерть два огромных барана; низко склонив закрученные в штопор рога; насмерть грызутся четыре волка, загнанные в деревянную клетку на колесах.

— Пойдем со мной, приятель, — слышит возле себя

Ивашка родную, хоть и коверканную, речь. — Я тебя повеселю.

Ивашка оглядывается: перед ним стоит полный человек в персидской одежде.

— Повеселишь? — усмехнулся Ивашка. — А ты кто такой будешь? И откуда по-нашему говоришь?

— Люблю русских, — сказал тот усмехаясь. — Я в Москве был, по купеческому делу. Хочу тебя вином угостить.

— Что ж, дело хорошее, — обрадовался Ивашка. — А не врешь?

— Для чего врать! Сам увидишь. — Незнакомец повел рукой в сторону низкого строения, стоявшего посреди майдана. — Вот кабак, там и угощу.

— Ну, vedi, будь по-твоему, да только без обману, не то...

Ивашка показал знакомцу кулак и, недолго думая, последовал за ним.

31

Кузьма сразу заметил, что Ивашку относит в сторону от своих, но думал, что у того хватит силы пробраться обратно. Когда же, оглядевшись, убедился, что Ивашки все нет и нет, то встревожился не на шутку, зная легкий Ивашкин нрав. Да и не хорошо посольским людям ходить врозь: город большой, неведомый...

— Как увидите Ивашку, тотчас скажите! — наказал он своим. — Того гляди, загуляет, не оберешься беды.

Незаметно к посольским людям приблизился какой-то простолюдин. Он внимательно оглядел их, остановил взгляд на Вахрамееве, легонько, с почтительностью, тронул его за рукав и тихо сказал что-то на своем языке.

— Чего тебе? — сердито нахмурился Вахрамеев.

Тот, пугливо озираясь по сторонам, опять сказал по-

своему. Казалось, он не то просит Вахрамеева о чем-то, не то остерегает его.

— А ну, перетолмачь! — Кузьма подтолкнул Серегу к персиянину. — Чего ему надо?

— Господин московский посол, — быстро перетолмачил Серега, — мой господин велел сказать тебе: будь осторожен. Есть сильные люди, умышляющие против тебя и твоих людей. . .

Вахрамеев важно оглядел персиянина.

— Передай ему, — строго сказал он Сереге, — что я родич князя-боярина, великого царского посла. Ишь, кого вздумал пугать!

Серега бросил на Кузьму короткий взгляд и промолчал. Да уж некому было и пересказывать слова Вахрамеева: персиянин, испуганный, верно, неожиданным отпором, пытался скрыться в толпе. Но Кузьма живо схватил его за ворот.

— Пусть скажет, — кивнул он Сереге, — кто послал.

— Отпусти меня с миром, — ответил персиянин. — Я сказал послу со слов моего господина: будь осторожен. Разве станет враг, умышляющий злое, предостерегать того, кому готовит козни?

Кузьма пристально поглядел на персиянина, помедлил и отпустил его ворот. Тот слился с толпой и исчез.

— Пошли назад на подворье! — И Кузьма двинулся вперед, разрезая толпу, как остроносый струг воду. Остальные — за ним. Только Вахрамеев заартачился: видно, не вдоволь еще покрасовался в богатом своем наряде.

— Не пойду! — злобно крикнул он вдогон Кузьме. — Ишь, кого слушаться вздумали.

Кузьма остановился на его голос, обернулся.

— Смотри, Вахрамей, мы не поглядим, что ты родич боярский, враз окоротим. . . — И грозно примолвил: — Не шутки шутим, государское дело справляем.

А Петр Марков, кречетник, подойдя к Вахрамееву, крепко подтолкнул его в бок: ступай, мол!

И Вахрамеев, как побитый пес, недовольно ворча, последовал за всеми.

Когда посольские люди выбрались из майдана, к ним подошел все с тем же стариком переводчиком высокий черноглазый человек в европейском платье, при густых черных усах и такой же бороде. Видно, он давно следил за посольскими людьми и ждал только удобного случая, чтобы заговорить с ними. Он подошел к Вахрамееву, прельщенный, верно, его богатым нарядом.

— Господин посол, — заговорил было с его слов переводчик. — Господин португальский купец Эса Мендеш...

Но Вахрамеев как-то вдруг обиженно сморщился и указал пальцем на Кузьму.

— Вон ему, смерду, говори, — крикнул он визгливо. — Я тут не при деле!

Иноземец равнодушно отвернулся и отвесил поклон Кузьме.

— Господин посол, — снова заговорил переводчик. — Господин португальский купец Эса Мендеш почитает своим долгом предупредить господина московского посла: посетившие не столь давно посольское подворье голландский и английский купцы есть не кто иные, как грязные воры, гнусные прелюбодеи, смердящие псы, иудино отродье, каиново семя. О сем господин Эса Мендеш почтительнейше просит вас, господин посол, передать в Москве...

— Постой, постой! — Кузьма сердитым жестом руки прервал гладкую речь переводчика. — Не ему говорить, не мне слушать!..

Кузьма сделал знак своим и зашагал прочь. Только свернули они в тихую, узкую улочку, ведущую с майдана, как кречетник крикнул:

— Ой, никак Ивашка, да еще хмельной!

И верно: впереди в двух десятках шагов шел Ивашка. Его легко было узнать со спины по малиновому стрелецкому кафтану, опоясанному широким белым тесмяком. Шел он, сильно пошатываясь, и его за локоть поддерживал какой-то грузный персиянин.

— Ива-шка!.. — зычно крикнул Кузьма.

Но тот, видно с похмелья, не слышал. Зато его спутник оглянулся и тотчас толкнул Ивашку влево, в узкий проход между двумя глиняными домишками. Они уже подходили к проходу, когда Кузьма, одолев в несколько прыжков расстояние, отделявшее его от Ивашки, схватил его за плечи и повернул к себе.

— Ты что это, а?.. — Кузьма крепко тряхнул Ивашку. — Так-то держишься уговора?

— Но, но... не задирайся... — заплетающимся языком пробормотал Ивашка. — А то...

И он повел рукой, не то пытаясь оттолкнуть, не то ударить Кузьму.

Тогда Кузьма, чтобы привести Ивашку в себя, легонько ткнул его кулаком под челюсть, но не рассчитал удара: Ивашка побелел, тонкая струйка крови показалась в углу его рта. Не поддержи его подоспевший Петр Марков, кречетник, ему бы не устоять на ногах.

— Ну, погоди ж ты... — произнес Ивашка с угрозой, устремив на Кузьму злобный, но уже не хмельной взгляд. — Ужо посчитаюсь с тобой!..

Но Кузьма уже занялся персиянином.

— Узнай, Серега, кто такой будет, какое дело было у него до Ивашки?

— Кто буду? — повторил по-русски, широко улыбаясь, персиянин. — Купец я, в Москве бывал, русских люблю, веселить Ивашку хотел... Нельзя?

— Почему нельзя? Можно. А скажи-ка, приятель, куда ты тащил Ивашку?

— Еще веселиться ташил, — все так же ухмыляясь, но с явной издевкой, отвечал персиянин. — Нельзя?

— Почему нельзя? — ухмыльнулся, в свою очередь, и Кузьма. — Можно.

Тут Серега задал персиянину какой-то вопрос, и с лица того сразу сбежала усмешка, появилась настороженность и злость. Он отмолчался. Тогда Серега задал ему еще вопрос, и персиянин опять ничего не ответил, только повел недоуменно плечами.

Хотя Кузьма и не понял, о чем Серега спрашивал персиянина, но решил, что от дальнейшей проволочки никакого толку не будет.

— Будь здоров, приятель, — сказал он персиянину. — Без тебя веселиться будем.

Шли молча, только Ивашка, поддерживаемый кречетником, что-то бормотал про себя. Серега заговорил не прежде, чем отошли на добрую сотню шагов:

— И вовсе он не персиянин, он из Туретчины. Я по-турецки к нему обратился, так он притворился, будто турецкую речь не понимает. А мне и без того видно, кто он такой, недаром я в Туретчине жил...

— А что в том дурного, что он из Туретчины? — пытая Серегу, спросил Кузьма.

— Ничего в том дурного нет, а только чего же было ему таиться... Не зря он Ивашку вином-то поил!

— Не зря? Так для чего же?

— Кто его знает... Турецкий-то султан много раз разорял персидское царство и многие шаховы города захватил. А теперь турки чувствуют, что шах в силу входит, что недолго он у султана в покорности будет. Вот и мутит и мутит.

— А Ивашка при чем тут? — улыбнулся Кузьма. — Ивашку-то твой турок вином для чего поил?

— Да что ты пристал ко мне? — разозлился Серега. — Откуда мне знать? Я, что ли, посол московский?

Почему да зачем... — Он помолчал, а потом сказал: — Да потому, что хотел он дознаться у Ивашки-дурака, чего ради ваше посольство из Москвы в Казвин прибыло!

— Может, и так.

— Верно я тебе говорю! Туркам невыгодно, что у шаха дружба с Москвой. Я об этом еще в Кашане слышал, у купца моего разговор был с гостями. Да не только у купца — и на майдане у нас о том говорили...

— Значит, то глас народный, — заключил Кузьма, остановясь у подворья.

Затем он повернулся к кречетнику:

— А Ивашку, Петр, запри в чулан, на хлеб и на воду. Не пойдет добром — побей, да покрепче.

— Будь надежен, побью, — отозвался кречетник. — Для порядку, чтоб и другим неповадно было.

32

На подворье посольских людей ожидал высокий, тучный, средних лет иноземный воин в тонкой кольчуге, обтянувшей широченную грудь, при кинжале и сабле. У него было тяжелое, красно-багровое в шрамах лицо и мутные, словно взболтанные, глаза.

При виде входящего в покои Вахрамеева воин проворно вскочил, загремев всеми своими доспехами, поклонился и произнес что-то на своем языке.

Вахрамеев, окинув его на ходу беглым взглядом, молча прошел в свои покои и хлопнул дверью. Воин гневно поглядел ему вслед.

— Куда глядишь? — крикнул поп Никифор, будто иноземец мог понять его. — Воц он... наш главный посол! — и показал пальцем на входившего в палату Кузьму.

Воин недоверчиво посмотрел на Кузьму. Чуть склонив голову, он снова произнес что-то на своем языке.

— По-каковски говорит?— спросил Кузьма у Сереги.

— По-венецкому! — обрадовался Серега, хотя никогда никакого добра от венеццев не видел.—А сам, похоже, из немцев.

— А ты его понимаешь?

— Как не понимать — три года у венеццев прожил!

— Вот и спроси его, чего ему от нас надобно.

Серега быстро заговорил, но воин, видно, не понял и только растерянно смотрел на него. Серега снова сказал, но уже медленно, разделяя каждое слово. И тут воин заулыбался. Он одобрительно закивал головой и стал говорить так же медленно, из опасения, должно быть, что Серега его не поймет.

— Он из голштинских немцев, — перевел Серега речь иноземца. — Дрался во многих битвах и много раз был ранен; служил в войске францовском, потом в гишпанском, потом у цесаря; от цесаря перешел к турецкому султану, от султана к венеццам, у которых прослужил восемь лет. А ныне прибыл в Казвин вместе с послом венецким; здесь он в чем-то не поладил с послом, обозвал его дурным словом и оставил венецскую службу. А к тебе пожаловал, чтобы проситься на службу к государю-царю, и богом клянется храбро оборонять Русь от всех врагов ее...

Кузьма вскинул удивленный взгляд на воина и помедлил в раздумье.

— Что-то не пойму я, Серега. Коли он немец, чего же ради в чужом-то войске служит? Да еще, может, против своих же и дрался?

Серега задал воину вопрос, тот ответил.

— Случалось, говорит, и против своих драться, когда во францовском войске служил. Так ведь за то францовский король ему деньги платил, чистым золотом...

— Тут что-то не так, Серега, — сказал Кузьма. — Уж не спутал ли ты? Кто ж станет корысти ради своих убивать и родимую землю разорять? Быть того не может!

— Верно, что-то не так, — отозвался и Петр Марков, кречетник. — Христианская же душа...

— Истинно! — подхватил зычным гласом и поп Никифор. — Этакого изувера и земля не стала бы носить!

Пока шло пререkanie, иноземец недоверчиво оглядывал скудно одетых посольских людей. Нет, не балует московский царь своих слуг! И о чем это они договариваются? Сколько жалованья ему положить? Если по их нарядам судить, не очень-то тут разживешься. А еще говорят, будто Русь велика и богата...

— Христом-богом клянусь, такова его речь, — уверял Серега своих друзей. — Да и невдомек мне, чему вы дивитесь! Этаких нехристей видимо-невидимо по чужим землям шатается. Нынче они Христовым именем против басурман дерутся, завтра — заодно с басурманами. Кто больше заплатит, за тем и идут, хоть против родных отца-матери! Экая невидаль, право! Тьфу ты!

Для убедительности Серега сплюнул под ноги воину и повел рукой в его сторону, чуть не задев лица. Тот вскочил с лавки, бросил ладонь на рукоять сабли и бешено прокричал что-то.

— Чего это ты? — спросил его Серега. — Иль какая муха тебя укусила?

Тот опять прокричал что-то и схватился за рукоять сабли, чуть потянув ее из ножен.

Поп Никифор подался на случай назад, а Кузьма нахмурился и чуть привстал в сторону воина.

— Но, но, — сказал он негромко, погрозив воину пальцем.

И тот сразу сел на скамью и опустил под взглядом Кузьмы мутные свои глаза.

Кузьма, помедлив, обернулся к Сереге.

— Скажи ему, — наказал он, — что у нас на Руси своих воинов хватает, да и храбрости воинам нашим не занимать.

— А еще скажи, — сердито добавил Петр Марков, — что эдакий воин без роду-племени не то что золота, а и гроша медного не стоит!..

— Нет, того не говори, Серега, не надобно, — сказал Кузьма. — То ему в обиду и посольству не в пользу.

Выслушав Серегу, воин поднялся с лавки, кивнул на дверь, за которой скрылся Вахрамеев, и спросил: может ли он теперь, после слуг посольских, поговорить с самим царским послом?

— Скажи ему, Серега, нельзя, — отвечал Кузьма. — Великие послы умерли, остались только слуги посольские, числом четверо. И что трое из них решили, того одному не отменить, будь он хоть в золотом кафтане.

В ответ воин поклонился и вышел из покоя.

— Хо-ро-ош! — протянул поп. — Шагает, так земля дрожит. Жаль, не нам достался, старый петух! Да ничего, я другого хвата тут прикормил, поумнее. Покличь-ка, Кодиенька, Хаджи-булата. Он на дворике ждет, небось притомился...

33

— Кто такой? — спросил Кузьма.

Прежде чем Никифор успел ответить, чернец Кодя ввел в покой старого, низкорослого персиянина, с маленьким, словно детским, личиком и громадным носом, с добрыми и умными глазами.

— Хаджи-булат, — сказал персиянин писклявым голоском, обвел посольских людей спокойным, внимательным взглядом и остановил его на Кузьме. — Добр здоров, боярин...



— Кто такой? — вновь спросил у Никифора Кузьма, невольно улынувшись в ответ. — Чего ради прикормил-то его?

— Нужный человечешко... — важно сказал поп. — В дворниках состоял при подворье. А здесь четыре года назад жил князь Звенигородский, Ондрей Дмитриевич, великий посол московский к шахову величеству. Вот кто такой! —

И поп поднял кверху указательный палец.

— По-нашему понимает?

— Почти что и нет.

— Как же ты с ним объяснился?

— А вроде как немые разговаривают. Явился он и говорит: стало мне известно, что послы ваши в пути умерли. — Поп закатил глаза, запрокинул голову. — Трудненько вам тут, говорит, приходится, простым людям, без привычки к посольскому делу, да ничего, говорит, помогу. — Поп горестно склонил голову, затем ободряюще заулыбался и потрепал себя рукой по плечу. — С князем, говорит, с вашим, Звенигородским знаком был. — Поп по-смешному скорчился и бормотнул писклявым голосом: — Я, Хаджи-булат, князь Зенигор служил! Гордый, говорит, князь был, самому царю друг. — Поп выпятил грудь, нахмурил густые брови, опустил нижнюю губу и грозно оглядел всех. — О вас, говорит, по всему Казвину-городу молва идет, гадают, кто вы такие, зачем приехали, чего ради простаками прикидываетесь. — Поп широким махом руки обвел вокруг и забубнил: — Бу-бу-бу-бу... Славно мы с ним поговорили...

Поп еще не кончил, а уж Кузьма, кречетник и толмач Серега чуть не в лежку лежали от хохота; смиренный чернец Кодя и тот улыбался. А Хаджи-булат, довольно усмехаясь, как заводной, кивал головой: так, мол, и было...

— Ну и рассмешил, отец Никифор, — еле проговорил Кузьма. — Вот это толмач — не в пример тебе, Серега!

Кузьма неожиданно поднялся с лавки, подошел к Хаджи-булату и уставился на него как-то сразу померкшим взглядом. И со всех лиц сошла улыбка. Хаджи-булат выдержал взгляд, не отвел глаз.

— А ну, спроси его, Серега, — приказал Кузьма, — кто подослал его к нам и с каким тайным умыслом?

Серега спросил, но Хаджи-булат в ответ только покачал головой.

— В обиду принял? — сурово сказал Кузьма. — А вдруг притворяется? Дело немудрое притвориться. Пусть клятву дает, что с добром явился. Нам, скажи, иначе нельзя: посольское дело справляем.

Хаджи-булат уселся на землю, скрестил ноги, повернулся лицом к востоку и что-то медленно и торжественно произнес на своем языке.

— Дал клятву? — спросил Кузьма.

— Дал, — ответил Серега.

Поднявшись с полу, Хаджи-булат быстро и весело заговорил.

— Поначалу я, верно, в обиду принял твои слова, — перевел Серега. — А подумал и решил, что ты прав, что на веру никого не берешь. Тут ухо остро держать надобно, против вас многие козни плетутся. И среди шаховых ближних людей найдутся такие, кому не по нутру шахова дружба с царем...

— Кто ж такие?

— Сам дознаешься. А мне, Хаджи-булату, о том говорить страшно.

— Если страшно, так и не надо, — холодно отозвался Кузьма.

Хаджи-булат снова заговорил. Серега же переводил его слова:

— Против вас английские люди умышляют, им тоже поперек горла персидская дружба с Москвой. Сильнее станет шах — труднее будет его на английскую сторону переманивать. Им только бы рознь была: у шаха с Москвой, у турецкого султана с шахом, у Москвы с султаном...

— А кто они такие, эти английские люди? — спросил Кузьма и, усмехнувшись, добавил: — Иль, может, тебе и эти страшны?

— Чего уж, скажу, — махнул рукой Хаджи-булат. — Самый из них опасный — Антони Ширли...

— А ну, запиши, отец Никифор, — строго приказал Кузьма.

— Ширли, — повторил Серега. — Антони.

— А чем он промышляет тут, этот... Антон?

— Как тебе сказать? Есть у шаха Аббаса славный военачальник, Аллаверди-хан. Он укрепляет шахово войско, чтобы можно было от врагов обороняться и отобрать у них назад наши земли и города. В этом деле и помогает Аллаверди-хану Ширли.

— Выходит, полезный он шаху Аббасу человек? А ты говоришь...

— Вот и говорю: есть шаху от него польза. Так ведь другие английские люди такую же помощь шахову не другу, султану, оказывают!

— Хитрое дело, — проговорил Кузьма. — А что же, шах о том разве не знает?

— Как не знать — знает, — усмехнулся Хаджи-булат, и в умных его глазах зажегся веселый огонек. — Наш

шах великий, мудрый правитель. Он от каждого берет, что можно взять. Настанет день, и недруги наши поймут, что обманулись они в своих коварных расчетах...

Кузьма смотрел на Хаджи-булата и дивился, как гордо блестели глаза старика.

«Видать, верной души человек, — думал Кузьма. — Этот родной земли не предаст, а значит, и к нам, московским посланцам, явился с добром!»

— А английские купцы, которые здесь торговлю ведут, заодно с Антони Ширли против вас умышляют, — продолжал Хаджи-булат.

— Об этом нам ведомо, — важно сказал Кузьма. — И о турецких происках, и об англинских. Ты вот что скажи: чего им от нас нужно?

— Чего нужно? И английские и турецкие люди узнать хотят, нет ли в грамотах ваших чего о торговых делах. Но всего важнее им узнать, за каким большим государским делом великие послы в персидское царство пришли, какую помощь сулит Москва шаху...

— Разве ж не знают они, что мы не послы, посольства справлять не можем и царских грамот читать не смеем?

— Что ж, что знают? Грамоты с вами, а в грамотах все и сказано...

— Правильно говоришь ты, Хаджи-булат. Вот и я так думаю: они хотят до грамот добраться.

Когда ушел старый персиянин, Кузьма подошел к Ивашке и больно стукнул его согнутым пальцем по лбу.

— Теперь понял, дурень, чего ради поил тебя тот, на майдане?

— По-онял...

— То-то и оно! В таком деле чуть оступишься — в иуды-предатели угодишь.

В ожидании прибытия шаха поп Никифор продолжал изо дня в день читать людям вслух наказ. Как-то и Вахрамеев послушал часок-другой, да заскучал.

— Чего слушать-то? — сказал он со злостью. — Назвался Куземка, смерд окаянный, послом, пусть сам и лезет в шахово пекло! А мое дело — сторона. Буду в Москве — все расскажу в Посольском приказе, если только сам шах Куземкину голову не отсечет...

Отстал и Петр Марков, кречетник.

— И того хватит с меня, что упомянул, — сказал он. — А то ум за разум зайдет...

Зато Ивашку словно бы подменили: сидит себе тихо да смиренно и старается запомнить то, чего ему, простому стрельцу, и вовсе не нужно.

— А ну, постой, поп, повтори, — останавливал он порой Никифора. — Как крымского-то царя кличут? Гзы-Гиреем, что ли?

— Казы-Гиреем, — поясняет поп и продолжает: — «...А в ответ послам говорить: крымский-де Казы-Гирей царь перед великим государем нашим неправды многие показал, а после того...» — Поп умолкает, вскидывает волосатую голову и насмешливо глядит на Ивашку: — А тебе-то, Ивашка, какая корысть, что Казы-Гиреем крымского царя кличут? Иль в зятя к нему метишь?

— Зачем в зятя, — сердито отзывается Ивашка. — Может, воевать с ним, супостатом, придется...

Однажды к вечеру прибежал на подворье Хаджибулат.

— Дело-то какое! — крикнул он писклявым голоском. — Приехали от шаха в Казвин ратные люди и привезли голову курдистанского царя и других голов двести, и поставили их на майдане на копьях. А шах, говорят,

весел и радостен, он с войском своим город Курдистан захватил и сам голову их царя отсек... Слышите? — Хаджи-булат поднял сухую старческую руку, и все услышали вдруг в вечерней тиши какой-то ровный, тревожный шум. — То в накары бьют и в трубы играют. И так три дня и три ночи будут бить и играть, пока шах в Казвин не прибудет...

Едва ушел Хаджи-булат, как на подворье явился Алихан, пристав.

— Близится шахиншах, светоч мира, к Казвину! — выкрикнул он прерывающимся голосом, едва распахнув дверь. — Готовьте грамоты и подарки царские шахиншаху! Готовьтесь сами — его шахово величество может потребовать, чтобы вы предстали пред его светлые очи!

С этими словами Алихан выбежал из покоя.

— Эк, суматошный какой, — повел плечами Кузьма. — Со страху, что ли, или с нечистой совести...

Когда Вахрамеев узнал о скором прибытии шаха в Казвин, он примирительно заговорил с Кузьмой:

— Вот что, Куземка, если покличет нас шах к себе, то уж и я пойду. А?

— Чего ж не пойти? Иди.

— Все ж лестно шаху с боярским-то, княжеским родичем...

— Конечно, лестно... Может, один и пойдешь, к шаху-то, если покличет?

— Что ты, Куземушка! — испугался Вахрамеев. — Уж лучше вместе... Вдруг да язык к гортани присохнет? Бывает же.

— Бывает. Да оно, может, и лучше...

— Это что — лучше-то? — нахмурился Вахрамеев. — Кому лучше-то? — Он перешел на крик. — Думаешь, рабья душа, я один посольского дела не справлю? Спра-авлю! Я-то знаю, чего ради ты, смерд, наперед лезешь, — шаховы подарки себе взять удумал, вот

и хочешь в послы пробраться! На-ка, выкуси! — и он показал Кузьме фигу. — Вот накажу Алихану, чтобы шаховы дары среди нас по породе делил...

— Ах ты, гадина! — тяжело выговорил Кузьма. — Люди муку смертную приняли, жизни лишились, а он, иуда, за шаховы дары посольскую честь предает...

Все вскочили с мест и угрожающе закричали на Вахрамеева.

А Ивашка медленно поднялся с лавки и двинулся на него со сжатыми кулаками. Вахрамеев, не спуская с Ивашки испуганных глаз, попятился к двери, затем взвизгнул вдруг, проворно повернулся и под общее улюлюканье побежал, переваливаясь, прочь из палаты.

Только успокоились, как на подворье опять явился Хаджи-булат с новой вестью: прибыли в Казвин шаховы воеводы Зильфар и Олпан-бек, старший брат Мелкумбека; они разбили войско царя мазендеранского и привезли триста голов на копьях...

— То понимать надо, — важно заключил Хаджи-булат. — Ныне шах Аббас малых своих недругов покоряет, чтобы они не мешали ему, когда придет время для великой борьбы... Далеко глядит шах Аббас!

— Похоже, далеко, — согласился Кузьма. — А вот, спроси-ка ты его, Серега, чего ради он к нам на подворье такие вести носит, какие всякий и сам может узнать? Вот пошлю на майдан хоть Ивашку, он ту же весть принесет. Чем такие вести на подворье приносить, не лучше ль ему старые ноги свои поберечь?

Маленькое, сморщенное лицо Хаджи-булата залилось краской. Он молчал, глядя в землю и переступая с ноги на ногу.

— А что хотел бы ты знать, посол? — спросил он, подняв на Кузьму свои умные, добрые глаза.

— Да все, — улыбнулся в ответ Кузьма. — А на первый случай: кто такой Алихан?

— Верно, не по душе он тебе, коль спрашиваешь. Хаджи-булат помолчал, пожевал губами, потом вдруг решился.

— Да сгинет страх, что сковывает уста мои! — заговорил он цветисто и чуть нараспев. — Вы друзья шахиншаху и нашему царству, и больше не стану я таиться от вас. Ты спрашиваешь, кто такой Алихан? Дурной человек Алихан, неверный человек. Три раза был он в посылках у султана турецкого и стал ему другом, а шахиншаху тайным врагом. Будь же настороже с Алиханом, царский посол!

— А Мелкум?

— Мелкум... — Хаджи-булат словно споткнулся. — Мелкум — первый у шаха человек, он живет на шаховом дворе день и ночь... Доверил ему шах и казну свою, и Казвин, и послы всех земель доверены ему. И брат Мелкума Олпан-бек, воевода, также в большой у шаха чести...

Хаджи-булат умолк.

— Каковы же они, Мелкум-бек и Олпан-бек? — с упорством повторил Кузьма.

— Не знаю, как и сказать тебе... Не смею сказать... Я человек маленький... Только будь и с ними настороже, посол...

— Они тоже, что ли, султана сторону держат?

— Может быть...

— А может, англинскую сторону?

— Может, и английскую...

— С этим, с Антоном... как его?

— Ширли...

— Вот, вот, Ширли. С ним, что ли, снюхались?

— Может быть.

— А шах о том ведает?

— Шах подозревает... ждет...

— Ну, спасибо тебе, Хаджи-булат, — заключил

Кузьма и повернулся к Никифору: — Выдашь ему, поп, камки шелковой сорок локтей.

Когда Серега перевел Хаджи-булату слова Кузьмы, тот в страшной обиде замахал руками.

— Не нужны мне твои дары! — гневно сказал он и даже притопнул ногой. — Не ради корысти играю я своей головой. Стыдно тебе, посол, предлагать мне награду. Думаешь, только тебе дорогá родная земля...

— Так во-от ты какой!... — протянул Кузьма. — Ну, прости, отец, моя вина...

Кузьма поднялся с лавки, обнял старика и крепко прижал к себе.

Глаза Хаджи-булата увлажнились, он как-то по-детски всхлипнул.

А когда Хаджи-булат собрался уходить — сегодня в Казвине каждый час мог принести новую весть, — Кузьма остановил его новым вопросом:

— А скажи-ка, Хаджи-булат, каков сам-то шах Аббас? Он-то чего хочет?

Хаджи-булата словно обожгло.

Одно дело, когда он сам говорил о шахе Аббасе, своем государе, — совсем другое дело, когда его спрашивают о шахе, будто о простом смертном...

Хаджи-булат помолчал.

— Ты не должен был задавать мне этого вопроса, посол, но я все же отвечу тебе. Слушай внимательно мой рассказ... Менее года назад стоял на этом самом подворье султанский посол. Однажды приехал к нему на подворье шах, и посол вручил ему грамоту от султана. Шах прочитал грамоту и сказал послу: «Пишет мне твой повелитель, султан, чтоб я послал ему в помощь против его недруга, мажарского царя, пятьдесят тысяч людей. Передай же султану: людей я в помощь не пошлю, хоть он и грозит, что пойдет тогда против меня войной. Угроз его я не боюсь, потому что бог дал

мне друга, белого царя русского. И сколько попрошу я у брата моего, белого царя, прислать мне людей, столько он и пришлет. Что с вами тогда будет? А если бы не было у меня друга, белого царя, вы бы, недруги, давно персидскую землю разорили...» И отпустил шах султанского посла ни с чем, и людей не послал султану на помощь...

Когда Серега перевел эту длинную речь, Хаджибулат заключил:

— Вот тебе, посол, ответ на твой вопрос!

— Ничего не скажу: ответ хорош, — сказал Кузьма. — А только не сказки ли ты рассказываешь нам, старик? Откуда тебе о том известно? Не ближний же ты у шаха человек, чтоб тайные его речи знать?

— На это я тебе ничего не отвечу, посол. Своей жизни я сам хозяин, а чужой распоряжаться не волен...

Неожиданно Кузьма вскочил с лавки, шагнул к двери, ведущей в покой Вахрамеева, и широко распахнул ее.

Стоявший за дверью Вахрамеев вскрикнул от неожиданности и в страхе попятился.

— Подслушиваешь! — с презрением бросил Кузьма. — Кто ж тебе слушать-то не велел? Тоже небось посол... Только гляди: сболтнешь — башку оторвем!

А через три дня чуть свет явился на подворье Алихан-бек.

Кузьма, оповещенный Кодей, тотчас же разбудил попа и всех остальных посольских людей. Когда все собрались в палате, Алихан, важный, медлительный, но, видать, чем-то обеспокоенный — косые, пронзительные глаза его так и бегали, — сказал:

— Государь наш, шах-Аббасово величество, прислал меня, раба своего, к вам и велел передать, чтобы все вы шли ныне в полдень к шах-Аббасову величеству и несли с собой кречетов.

— Что ж, — отвечал Кузьма, — мы готовы.

— А как войдете к шаху, — продолжал Алихан, — то будете у ноги государя нашего...

— Не-ет, у ноги шаха нам не бывать, — нахмурился Кузьма, — и в ногу нам шаха не целовать.

— Странно ты говоришь, — зло усмехнулся Алихан. — Шах Аббас всем иноземным послам дает целовать ногу. И турецкому, и португальскому, и цесарскому, и польскому, и веницейскому. Неслыханное дело, чтобы посол не был у ноги шахиншаха! А вы даже и не послы, а так...

— Уж какие есть, пристав, — спокойно сказал Кузьма, — а только у ноги шаховой не будем. Так говорю я, Никифор?

— Так, Кузьма, — широко зевнув, отозвался поп, — не целовать нам шаховой ноги.

— Так, Петр?

— Ужель не так? — ответил Петр Марков, кречетник. — Такому делу вовек не бывать.

— Так, Вахрамеев?

— Верно, что так...

— Слыхал, пристав? — повернулся Кузьма к Алихану. — Значит, так тому и быть. А что ты говоришь, будто неслыханно, чтобы посол не был у ноги шахиншаха, так это ты врешь, пристав. Никогда московские послы у шаховой ноги не бывали, то для Руси было бы бесчестьем великим. Скажи ему, поп, как у нас на Москве ведется!

Поп снова зевнул, покрестил свой огромный, густо заросший зев и сказал:

— У нас так ведется: когда бывают у его царского

величества от христианских государей послы, то государь тем послам дает целовать свою царскую руку, а на басурманских послов руку свою кладет. А того у нас не ведется, — заключил поп, — чтобы государя целовать в ногу...

— Слыхал, пристав? — сказал Кузьма. — Поди к шаху величеству и скажи: не бывать нам у шаховой ноги.

— Не смею я того шаху сказать...

— Да ты к шаху небось и не вхож, — сказал Кузьма.

— Я и Мелкум-беку не смею сказать...

— А ты, пристав, посмей, — отозвался Кузьма. — Ответ нам держать, не тебе.

Но Алихан не уходил.

— Подумай, посольский человек, — обратился он опять к Кузьме. — Сам подумай и людей своих вразуми: страшен будет шахов гнев, если вы не выполните стародавний обычай. Ох страшен! — И Алихан даже прикрыл ладонью свои косые глаза, чтобы только не видеть воображаемый жестокий гнев шахиншаха.

— Ступай, пристав, — отрезал Кузьма, — и передай Мелкуму: пусть шахово величество не неволит нас целовать у него ногу и тем между собой и государем нашим дружбы и любви не порушит.

Алихан ожег Кузьму злым взглядом и вышел из палаты.

— А вдруг и впрямь разгневается шах и прикажет наши головы отсечь? — тихо произнес Вахрамеев, глядя вслед Алихану. Затем, повернувшись к Кузьме, добавил: — Это все ты, все ты, смерд, хорохоришься! Экое дело: в руку ли, в ногу ли целовать...

Никто Вахрамееву не ответил. Тот еще поворчал и ушел к себе.

И не до Вахрамеева было: то, чего столько дней посольские люди ждали в тревоге, наконец пришло. Что-то станет с ними теперь? Будет ли милостив к ним

шах? Отпустит ли без дальних слов на Москву, или в самом деле, по слову Алихана, разразится над ними шахов гнев? А шах, слышно, в немилости гневен и жесток. Сказал же им пред смертью подьячий Дубровский в последнем завете своем: вы не послы, и шах не только над вашей казнью, но и над жизнью вашей волен...

О том и говорили между собой посольские люди, ожидая возвращения Алихана.

— А что, Кузьма, — вдруг усомнился и поп Никифор, — может, и верно, слишком круто мы повернули? Не кровная ли обида то шаху? Не послы же мы! Как подумаешь: я — черный попишко, ты — десятник стрелецкий, Петр — кречетник, Вахрамей — городской дворянин, да еще великий дурак к тому! — Поп расхохотался. Заулыбались и остальные. — Так вот, говорю: кто мы такие, чтобы государю персидскому, шахову величеству, наперекор идти? Скажешь: наказ не позволяет целовать шахову ногу. Так ведь то послам, а не нам, убогим. Велика ли нам цена на святой-то Руси? Ломаный грош, да и тот с ржавчиной! А? Как скажешь, Кузьма?

Кузьма ответил не сразу. На его крупное, рябое лицо легла тень раздумья.

— Твоя правда, поп, — заговорил он. — На Руси нам и впрямь ржавый грош цена. Так ведь тут, на чужой-то земле, ты, Никифор, и не поп вовсе, а я не десятник, и Петр не кречетник. Тут мы от всей Руси посланные, за всю, значит, Русь ответ держим. И за бояр, и за дворян, и за стрельцов, и за христиан, и за самого государя-царя... Вот и посуди: можно ли нам у шаховой ноги быть? Это нам-то, всей Руси? Не-ет, пускай уж и цесарский, и турецкий, и веницейский послы шахову ногу целуют, а от нас, Руси, того не дождутся. И ты, поп, — глаза Кузьмы загорелись, — об этом и думать забудь. На казнь пойдем, а от слова своего не отступимся!

— Верно, Кузьма, — отозвался Петр Марков, кречетник. — Уж так верно! — Он удивленно развел руками: — Я и сам так думаю, а вот не сказывается у меня, в слове-то...

— Да разве я против что говорю? — огорчился поп. — В башку-то всякое лезет, вот иной раз и сболт-



нешь несуразицу. Да и то сказать, не приводилось мне, грешному, послом быть. В деле духовном многоопытен я, в питейном то ж, а вот в посольском — нечем похвалиться... — И поп сокрушенно покачал головой.

— Эх, Никифор! — Кузьма улыбнулся. — Не видать тебе райских палат, жариться тебе в адовом пекле! А ты что ж, Серега, свое слово не скажешь? Ты, почитай, всю землю прошел...

— Что говорить-то, Кузьма? Всю землю прошел, а крепче и разумней русского человека, вот тебе крест, не видал...

— Коли так, — вступил в разговор опять поп Никифор, — то и раскинем нашим русским умишком; если всем к шаху идти, куда же грамоты царские девать? На одного Кодю оставить бязно...

— С собой возьмем, — сказал Кузьма, — я в кафтан

зашью, ты — в скуфейку. Так и будем до самой Москвы хоронить.

— Москва... — горько проговорил Ивашка. — Да быть ли еще нам в Москве-то? Сейчас там небось золотом деревья прихватило, журавли улетают — курлычут, и такая-то грусть на сердце... Эх!

— А у нас в Суздале в эту пору... — завел было Серега, но поп прервал его.

— Не бередите вы душу, окаянные! И без того тяжко... — И тут же заговорил о другом: — Скажи нам, Кузьма, что в тех больших грамотах посольских написано, если их и шаху давать не велено и нам самим смотреть не дозволено?

— Думаю, там подробно сказано, как царскую дружбу с шахом понимать следует. Есть там, верно, и договорная грамота о крепком союзе против общих недругов...

— Если так, — сказал Ивашка, — почему же эти грамоты шаху отдать нельзя?

— Мало ли что, — продолжал Кузьма. — Может, шах с чем не согласен будет или в чем усомнится. Вот и надо: где пояснить, где уступку сделать, а где и на своем настоять. А мы не послы, дозволения на такие дела не имеем...

— А если бы имели, — спросил Ивашка Кузьму, — справились бы?

— А чего ж не справиться? — отозвался Кузьма.

— И я так думаю, — сказал Петр Марков. — Справились бы. — И тише добавил: — Куземка справился бы...

Кузьма прислушался:

— Никак Алихан идет?

И верно, на пороге палаты показалась высокая фигура пристава.

Войдя в палату, Алихан воскликнул:

— Я принес вам ответ шахиншаха, солнца все-ленной!

— Скажи ему, пусть подождет, — велел Кузьма Сереге. — И поди, Вахрамеева кликни.

Через минуту Серега вернулся, ведя за собой за-спанного Вахрамеева.

— Теперь говори, пристав!

И Алихан, хмурясь и глядя поверх посольских людей, медленно продолжал:

— Мелкум-бек передал шахиншаху ваши речи, и го-сударь наш, шахово величество, указал: пусть будет так, как у вас на Москве ведется...

Ровно в полдень посольские люди были в палатах шаха. Впереди шли Кузьма, поп Никифор, Вахрамеев и Серега-толмач. А за ними несли кречетов кречетник Петр Марков и стрелец Ивашка.

Шах стоял под шелковым навесом, на коврах. По левую его сторону находился Мелкум-бек, по правую — Аллаверди-хан. В стороне от навеса притулился ста-рый персиянин-переводчик — тот самый, что приходил на подворье с иноземными купцами; на этот раз он был одет чуть почище. Около стены вокруг навеса стояли юные персияне в одинаковых кафтанах.

Шах был невысокого роста, но дороден, лицом бел, борода крашена хной, глаза чуть навывкате. Одет был в тонкий, короткий зипунец, вправленный в штаны из золотой парчи и подпоясанный парчовым же кушаком. На голове шапка, серая, мерлушковая, подложенная лисой; на ногах желтые сафьяновые башмаки. А на Мелкум-беке и Аллаверди-хане платье такое же, что и на шахе.

Посольские люди перед навесом остановились и низко поклонились шаху.

Мелкум-бек от имени шаха, согласно обычаю, спросил Вахрамеева:

— Государь наш, шахово величество, спрашивает тебя: милует ли бог вашего государя-царя и великого князя Федора Ивановича?

Вахрамеев побелел от страха, не зная, что сказать в ответ. Хлопая глазами, глядел он на Мелкум-бека и наконец обернулся к Кузьме, словно прося о помощи.

А Кузьма уж, выступив на шаг вперед, свободно и легко, глядя шаху в глаза, строго по обычаю отвечал:

— Как мы поехали от великого государя нашего Федора Ивановича, самодержца всея Руси, и великий государь наш, его царское величество, на своих преславных и великих государствах российского царствия, дал бог, в добром здравье!

Согнувшись в поясном поклоне, Кузьма стал обратно на место.

Когда старик переводчик перевел ответ Кузьмы, последний спросил Мелкума о шаховом здравье. Мелкум ответил, глядя не на Кузьму, а на Вахрамеева. А затем опять обратился к Вахрамееву:

— Государев шурин Борис Федорович здоров ли?

И опять смолчал Вахрамеев. Шах недобро посмотрел на него и сказал что-то Мелкуму.

Кузьма снова ответил вместо Вахрамеева точно по наказу.

Шах подозвал к себе Кузьму и других посольских людей и возложил на них руку; а Вахрамеева, в богатом его платье, подозвал последним, уже после Ивашки.

— Кре-чет! — выговорил затем шах по-русски, и, улыбаясь, посмотрел на Кузьму.

Кузьма дал знак, и тотчас Петр Марков и Ивашка шагнули вперед, и Петр протянул шаху рукавку. Шах

взял рукавку, положил себе на руку и принял одного за другим кречетов, двух белых и двух красных.

— Я знаю, — горько сказал шах, — что брат мой послал мне много кречетов, но они погибли в пути...

Полюбовавшись кречетами, шах пригласил посольских людей в обширную палату и вместе с ними поднялся по лестнице на помост, стоявший посреди палаты и устланный коврами. Шах уселся на ковер, а перед ним, на широкой скатерти, поставлены были для гостей всякие яства и напитки. Был тут миндаль, изюм, фисташки, вареный рис разного цвета, а в рис положены были вареные и жареные куры, утки, баранина и рыба.

Шах велел посольским людям сесть за скатерть, а по обе стороны от себя усадил Кузьму и Никифора. Перед шахом стояла большая русская фляга с русским вином, и шах потчевал тем вином гостей. Потом поднялся из-за стола, а когда вслед поднялись и посольские люди, то не дал им встать. А сам обратился к Кузьме:

— Мне донесли, что ваши люди, будучи тяжело больны, не сходили с коней и продолжали путь на Казвин. Верно ли это?

— Верно, — отвечал Кузьма.

— И будто даже умирающие, ухватившись за конскую гриву, держались в седле до привала? И случилось, что их мертвыми снимали на привале с коней? И будто сам великий посол, умирая, не пожелал остаться в Лангеруде и приказал нести себя дальше?

— Верно, — отвечал Кузьма. — Трудный был путь.

— Трудный? — шах обернулся к Мелкуму. — Слышал? Вот какие верные люди у брата моего... Что? — вскричал он гневно, хотя Мелкум молчал, опустив свою большую голову. — Говори!

И Мелкум, не поднимая головы, сказал:

— У светоча мира, шахиншаха, тысячи тысяч верных слуг, готовых умереть по первому его слову...

— Знаю, язык без костей, — ворчливо произнес шах и опять обратился к Кузьме. — Скажи мне, кто ты у себя в стране? Какое место занимаешь среди царских слуг?

— Я простой воин в царском войске, — отвечал Кузьма. — Стрелецкий десятник.

— Скажи мне имя твое.

— Кузьма.

— А эти? — Шах обвел рукой всех сидящих за столом посольских людей. — Кто они такие?

Кузьма сказал о каждом.

— Так как же посмели вы, — неожиданно вскричал шах, снова приходя в гнев, — как посмели вы, последние люди в своей стране, не быть у моей, шаховой, ноги, когда самые знатные вельможи чужих земель за великую честь такое для себя почитают?

— Вот и я говорил им о том же, светоч мира, славнейший из славных! — вставил свое слово Мелкум.

Серега, запинаясь от страха, перевел слова шаха.

— Выслушай меня, шахово величество, — твердо начал Кузьма, чуть побледнев в лице. — У своего государя-царя мы, может, и последние люди, а для тебя, не прогневайся, первые. Мы перед тобой Москву представляем, и что нам в бесчестье, то и всей земле русской в поруху. Не в обиду тебе говорю, шахово величество, не в обиду и прими мое слово! Хоть и не послы мы и посольского дела справлять не можем, а все же от лица Москвы пришли мы в твое царство не с враждой, а с любовью и дружбой!

Шах молчал, тяжело дыша.

Но вот на его лице появилась улыбка, и он ласково обнял Кузьму за плечи.

— Спасибо тебе за смелый ответ, — сказал шах от души. — Вижу, не только в великих землях сила дер-

жавы вашей, не только в богатстве, в огненном бое. В людях ее сила!

И, придя в веселое расположение, шах стал спрашивать, где на Руси водятся кречеты.

— Во многих местах нашей земли водятся кречеты, — отвечал Петр Марков. — И в Холмогорах на Двине, и на Белом озере, и в далекой Сибири.

— Сибирь... — повторил шах и снова спросил у Кузьмы. — А велика ли сибирская земля?

— Очень велика, шахово величество. Велики и многоводны реки сибирские, безмерны леса, высоки до небес горы, бескрайни степи.

Шах недоверчиво взглянул на Кузьму:

— Уж не рассказываешь ли ты мне сказки о своей стране, как это в обычае у послов?

— Я не посол, шахово величество, — спокойно ответил Кузьма, — и посольские обычаи мне неведомы. Я воин и просторы сибирские изведаль, сидя в конском седле, гоняясь за злым Кучумом-царем.

— Вижу, ты правду говоришь мне, — милостиво сказал шах. — О Кучуме-царе, верно, слышал и я. Где же он сейчас, Кучум?

— Сейчас не скажу, жив ли даже, а года три тому, бегая от государевых людей, промышлял он грабежом да разбоем.

— А идет ли какой доход Москве от сибирской земли? — спросил шах. — Ведь земля эта пуста и безлюдна!

— Нет, шахово величество, не пуста земля сибирская, а устроена. По великой Оби-реке и другим сибирским рекам поставили государевы люди больше тридцати городов, и старых городов было там до двухсот. И живут ныне в Сибири многие государевы воеводы, и на житье устроены там многие дети боярские, и казаки, и стрельцы. И дань с сибирской земли идет Москве немалая: соболи, и лисицы черные, и иной зверь всякий...

— Да-а, — медленно произнес шах, — поистине велика и богата земля ваша...

Не успел шах кончить речь свою, как перед ним встал юный персиянин, бесшумно взбежавший по лестнице.

— Чего тебе? — строго спросил шах.

— Посол султана просит предстать пред твои светлые очи, славнейший из славных!

— Пусть войдет, — сказал шах и кивнул Мелкуму, который тут же сошел с лестницы, навстречу послу.

Серегу шепотом перевел сказанное посольским людям, и поп Никифор, помня о наказе, вопросительно взглянул на Кузьму: не дозволено посольству находиться у шаха в одно время с послами других государей! Но Кузьма, видать, решил по-иному и на взгляд попа не ответил...



Двое юных дворян в сопровождении Мелкума ввели под руки в палату пожилого, дородного турка в богатой одежде и помогли ему подняться по лестнице.

Остановясь перед шахом, турок пал ниц, поцеловал туфлю шаха и тяжело поднялся. Шах рукой указал турку место вдали от себя, и турок хмуро уселся у самого края скатерти.

— Я скажу тебе сейчас, Кузьма, — заговорил шах, — о чем ты задумался. Ты спрашиваешь себя: почему посла султана во дворец шаха вводят под руки, а московские должны сами идти? Угадал?

— Нет, шахово величество, не угадал, — отвечал, чуть помедлив, Кузьма. — Смею ли я судить о делах твоих и обычаях! О другом была дума моя: не забыть помянуть и об этом обычае в статейном списке, который должны мы представить в Посольский приказ на Москве...

— Помяни, Кузьма, — холодно сказал шах, — обязательно помяни. А все же ответь мне: как ты полагаешь, откуда возник этот обычай?

— Потому, верно, — отвечал укоризненно Кузьма, — что турецкий султан великий друг тебе, шахово величество...

Шах гневно посмотрел на Кузьму, но тут же сдержал себя.

— То — стародавний обычай, — сказал он, — а ввел его отец моего деда, славный шах Исмаил...

Шах замолчал, как будто что-то вспоминая.

— Послушай, Реджеб-ага, — обратился он к турецкому послу. — Может, ты скажешь нам, откуда взялся этот давний обычай?

Турок хмуро молчал, тяжело дыша, лицо его побагровело.

— Предки твои, шахиншах, — начал он хрипло, — высоко чтили великую и грозную Османскую империю и потому оказывали послам ее особый почет. Вот, думаю, откуда взялся этот славный обычай...

Шах насмешливо посмотрел на турка и покачал головой.

— А мне, Реджеб-ага, совсем иначе о том рассказывали. — Шах повернулся к Аллаверди-хану, сидевшему напротив него, по другую сторону скатерти. — Помнится, от тебя слышал я эту правдивую историю. Расскажи ее нам!

— Не будет ли это в ущерб закону гостеприимства, предписанному алкораном, о светоч мира? — улыбнулся Аллаверди-хан.

— Правда всегда угодна аллаху.

И Аллаверди-хан начал рассказ бесстрастным голосом летописца:

— Это было еще при славном шахе Исмаиле. Шах Исмаил был не только великим государем, но и под именем Хатаи слагал божественные стихи, еще более славные, чем Хафиз и Хайям¹.

Злые соседи боялись и ненавидели шаха Исмаила, но не в силах были одолеть его в открытом бою и поэтому решили убить его.

Однажды во дворец Исмаила явился посол турецкого султана, пал ниц перед шахом и поцеловал его ногу. А когда поднялся с колен, то выхватил из ножен кинжал и пытался поразить шаха в самое сердце. Но приближенные Исмаила удержали преступную руку, и злодей в тот же час был посажен на кол на майдане. Вот с той поры и вошло в обычай: турецких послов вводят к шаху, крепко держа за руки...

¹ Хафиз (псевдоним, настоящее имя Шамседдин Мохаммед, 1300—1389) — персидский поэт, величайший лирик XIV века. Хайям Омáр (родился около 1040 года, умер в 1123 году) — выдающийся персидский поэт, математик, философ.

— Под руки! — сердито выкрикнул со своего места турецкий посол.

— Под руки, мой Реджеб-ага, — ласково подтвердил шах Аббас, — но только с недавнего времени. Так повелел мой отец, добрый шах Ходабенде...

Сергея слово в слово перевел посольским людям рассказ Аллаверди-хана, и посольским людям по душе пришелся этот рассказ. Один только Вахрамеев помрачнел еще более: как бы не разгневал шаха этот самозванец Куземка, того и гляди, угодишь на кол заодно с ним, со смердом...

— Вот и запиши, Кузьма, в свое донесение моему брату об этом любопытном обычае, — смеясь, сказал шах. — Да смотри не забудь!

— Не смею забыть твою волю, шахово величество, — улыбнулся в ответ и Кузьма. — Да и с нас строго взыщут, если забудем...

Шах помолчал. По веселому взгляду его видно было, что он задумал новую игру и поведет ее при поддержке Кузьмы, уверенный, что тот не подведет.

— Скажи мне, Кузьма, — заговорил он, — как ныне ваш государь с крымским, с Казы-Гиреем царем? В дружбе ли?

— Крымский Казы-Гирей царь, — точно по наказу отвечал Кузьма, — не раз нападал на Русь. А после присылал послов, чтобы уверить государя в своей любви и дружбе. Но государь наш этих послов не принял.

— Откуда же такая сила у Казы-Гирея, что он не боится причинять зло великому брату моему, московскому царю?

Этот вопрос не был предусмотрен в наказе, и Кузьма, подумав, ответил:

— Невелика его сила, шахово величество, и не на свою силу надеется Казы-Гирей, испытывая терпение государево. — Тут Кузьма посмотрел на турецкого

посла. — И на чужую, видать, не слишком надеется, раз просит о дружбе...

— А с турецким султаном как ваш государь? В дружбе ли?

По наказу Кузьме следовало ответить: государь наш готов к дружбе с султаном, если султан перестанет делать набеги на русские земли и на то же Казы-Гирея толкать; а в противном случае готов и к отпору. Но ответ этот не был рассчитан на присутствие турецкого посла, и потому Кузьма дал иной ответ, подходящий к этому случаю:

— С тобой, шахово величество, государь наш помимо всех государей, навек будет в братской любви и дружбе.

— Знаю, — сказал шах, — верный мне друг белый царь Федор Иванович! А скажи мне, Кузьма, много ли пушек у вас на Москве?

— Пушек больших у нас много, — ответил Кузьма. — И ядра чуть не с человека будут. Когда государь наш посылает в поход воевод своих, тогда под большими пушками собирается до трех тысяч человек и более...

— Мне не раз говорили о том же и слуги мои, возвратясь из Москвы. И я рад, Кузьма, что услышал от тебя то же... — Шах обратился к турецкому послу: — Слыхал, Реджеб-ага, как велики пушки у русского царя? Донеси же о том султану. Ему, верно, приятно будет узнать, что у друга его, шаха Аббаса, такой сильный, могучий друг! Разве нет?

— Сила и дружба познаются не на словах, а на деле, о великий шах!

— Верно, Реджеб-ага! Но кто же решится проверить мечом крепость дружбы между мною и братом моим и силу двуединого нашего войска?

— Не ходи по самому краю, о шахиншах! — зло отвечал турок. — Помни о прошлом!

— О прошлом пусть вспоминают старухи, Реджеб-ага. Я гляжу вперед, а не назад!

— А подсчитал ли ты, шахиншах, — продолжал турок, — во что обойдется тебе дружба с Москвой? Сколько городов, золота, шелка придется отдать тебе за нее?

— Я помню, Реджеб-ага, сколько земель, городов, людей и богатств захватили мои недруги. А что касается дружбы... — Шах тронул Кузьму за плечо. — Скажи мне, Кузьма, велика ли держава брата моего?

— Нелегко мне ответить тебе, шахово величество. — Кузьма задумался. — Нет на свете другой столь обширной державы. Отвечу тебе теми словами, что слышал сам от одного мудрого старца: над русской землей никогда не заходит солнце...

— А много ли людей живет на вашей земле?

— Не ведаю, шахово величество, и никто не скажет тебе о том. Когда созывает государь в поход свое войско, то от поступи воинов содрогается земля, шатаются храмы каменные и колокола сами начинают звонить...

— А много ли городов на вашей земле?

— Несчетное количество, шахово величество, и все, почитай, обнесены каменными стенами. По сторожевой своей службе взойдешь, бывало, на городскую стену, а вдали другой город виднеется, золотыми крестами на солнце горит... — Кузьма будто в недоумении пожал плечами. — К чему вопрошаешь ты меня, шахово величество? О том и твоим послам на Руси, и англинским, и францовским, и цесарским, и турецким известно...

— К слову пришлось, Кузьма, — улыбнулся шах. — Выходит, у брата моего несчетно земли, людей, городов, богатств. Значит, не ради корысти пошел он на дружбу со мной. Чего же ради, Кузьма?

— Не мне судить о том, шахово величество. Но я так

понимаю: Руси добрые соседи нужны, да славная с ними торговля, да чтобы вместе стоять против общих недругов, если те войной пойдут...

— Верно, Кузьма! — Шах встал, глаза его, устремленные на турецкого посла, казалось, кипели от гнева. — И я верну, слышишь, Реджеб-ага, верну все, что отняли у страны моей злые недруги!

Шах опустился на сиденье и перевел дух.

— Говори, с чем прибыл ты ко мне от султана, Реджеб-ага? Что тебе надобно?

— Не стану я о том говорить, о славнейший из славных, в присутствии чужеземных послов.

— Говори! — закричал шах. — У меня нет тайн от послов московских!

Но турок молчал, крепко сжав губы, словно боясь, что их разомкнут силой.

— Так я сам скажу тебе, зачем ты прибыл сюда! Тебе велели узнать, для чего прибыли ко мне послы Москвы! Слушай же!.. Скажи, Кузьма, зачем прислал вас ко мне государь ваш?

— Для установления с тобой крепкой дружбы и вечного против общих врагов союза. Так говорит наказ, данный великим послам. И только смерть, — твердо добавил Кузьма, — помешала им подписать с тобой, шахово величество, договорную грамоту.

— Слыхал, Реджеб-ага, что говорит посланец русского царя? — уже спокойно сказал шах. — С тем я и отпускаю тебя сегодня...

Турецкий посол в сопровождении Мелкум-бека тотчас же покинул палату. А шах и Аллаверди-хан еще добрый час беседовали с посольскими людьми, дивясь их разумным и точным словам. Но об отъезде в Москву шах ничего не сказал. Когда же Кузьма спросил его об этом, шах прервал его на слове:

— Придет срок, я отпущу вас...

Вернувшись на подворье, посольские люди узнали от Коди, что в их отсутствие приходили какие-то персияне. Они требовали через толмача от имени шаха, чтобы он, Кодя, отдал им коробью с грамотами, которую послы будто бы забыли с собой взять.

Кодя в подворье их не пустил и коробки не отдал. Тогда они стали грозить ему гневом шаха и всякими страшными казнями. Кодя забрался на стену подворья и прицелился в них из длинной стрелецкой пищали. Персияне попятились и тут же стали сулить ему за коробью столько золота, сколько он пожелает, и даже бросили несколько монет через стену. Кодя кинул монеты обратно, угодив двум персиянам в голову, слез со стены и занялся своим делом.

— А пригляделся ты, что за люди? — спросил Кузьма.

— В персидском платье... — отвечал Кодя.

— А сколько их было?

— Шестеро или семеро...

— Не приметил: были ли воины среди них?

— Будто все они были воины, кроме толмача.

Прошло два дня, от шаха не было никаких вестей. Заходил Хаджи-булат, говорил, что шах собирается в свой стольный Испаган-город и не сегодня-завтра отбудет туда с большой свитой.

— Есть слухок, — добавил Хаджи-булат, — будто шах берет вас с собой в Испаган...

Узнав о том, что произошло на подворье, пока посольские люди были у шаха, Хаджи-булат помрачнел.

— Вот оно что... — пробормотал он в смятении. — Значит, они перешли к делу... торопятся...

— Кто это — они? — спросил Кузьма.

— Ну, все эти... дурные люди...

— Кто же? — настаивал Кузьма. — Ведь среди этих разбойников были и воины. Кто же мог отправить воинов на подворье? Не английские же купцы!

Хаджи-булат молчал, опустив голову.

— Эх, старик, старик, — добрым голосом сказал Кузьма. — Связал ты с нами свою судьбу, уж будь верен ей до конца. Говори же: Алихан? Мелкум? Или — как его... Никифор, подскажи!

— Ширли.

— Ага, Ширли.

— Не-ет... — не поднимая головы, тихо отвечал Хаджи-булат. — По их слову, верно, но сами они не стали бы...

— Так кто же?

— Кто, кто! — вдруг со злостью визгливо крикнул старик. — Брат Мелкум-бека, Олпан-бек! Вот кто!

— Олпан-бек? Шахов воевода? Тот, кто в почете и милости у шаха?

— Тот самый. Будь теперь настороже, посол...

На другой день на подворье явился Мелкум-бек в сопровождении Алихана и двух воинов-телохранителей. Он велел собрать всех посольских людей и потребовал у них от имени шаха, чтобы выдали ему на руки царские грамоты и поминки.

— А скажи-ка, Мелкум-бек, — спросил Кузьма, — что за люди являлись сюда на подворье, грозили и требовали от имени шаха царские грамоты?

Мелкум удивленно переглянулся с Алиханом.

— Мне неизвестно, о каких людях говоришь ты, посольский человек. Но если такие люди действительно приходили и ссылались на священное имя шахова величества, то они достойны жесточайшей казни.

— Что же, — сказал Кузьма, — может, казнь и постигнет их.

— Дай-то бог, — невозмутимо отозвался Мелкум.

И тут Вахрамеев, обратившись к Мелкуму, неожиданно, с хитрым видом, сказал:

— Ох, Мелкум, чего-то ты крутишь! А нам вот известно, что это твой братец Олпан-бек мутит...

Сергея, конечно, не перевел слов Вахрамеева, но Мелкуму и не было в том нужды: одно имя Олпан-бека, произнесенное в такую минуту, сказало ему все. Он чуть побледнел, но тут же овладел собой и спокойно повторил требование о выдаче царских грамот и поминоков.

Кузьма не сразу смог ответить Мелкуму: страшный гнев перехватил ему дыхание, словно он разом опрокинул чашу крепчайшего зелья. Не раз убеждал его поп Никифор, что надо запереть дурака Вахрамея в покое и не пускать на люди! Так нет, не послушал он совета, помня завет подьячего. А разве мог знать подьячий, какому дурню доверил посольское дело...

— Мы не послы, — сказал Кузьма чуть приглушенным голосом, — и грамоты царские из посольского коробья отдать не можем. Мы на те грамоты и глядеть не смеем, не то что в руки взять. Не вольны мы и в царских поминках. Так и передай шахову величеству, Мелкум-бек.

— Понимаешь ли ты, что говоришь, посольский человек? — начал зло Мелкум. — Я требую у тебя именем шаха грамоты и поминки, которые государь ваш послал своему другу и брату шахиншаху. Кто же дал право тебе, простому воину, прятать их от шаха? На такое дело и сами великие послы не решились бы. Или тебе недорого твоя жизнь?

— Не пусторечь, Мелкум-бек! — спокойно отвечал Кузьма. — Мы выполняем волю великих послов, а великие послы следовали воле самого государя-царя. Так и передай шахову величеству.

Мелкум-бек, не сказав ни слова в ответ, повернулся

и вышел из палаты, за ним Алихан и оба воина. Тотчас же вскочил с места и Вахрамеев и быстро шмыгнул в свои покои, закрыв дверь на задвижку.

— Чует кошка, чье мясо съела! — крикнул вдогон ему Ивашка, побежал вслед и стал трясти дверь.

— Оставь, Ивашка, — устало и хмуро сказал Кузьма. — Теперь делу все одно не поможешь. А только не пускать его больше из покоев, пусть сидит там, пока на Москву не отъедем...

— Давно бы так, — отозвался поп Никифор. — А как ты понимаешь, Кузьма: Мелкум, и верно, от имени самого шаха требовал грамоты и поминки?

— Не иначе, как от шаха.

— И грозился, думаешь, по шахову повелению?

— Грозился, должно быть, от себя.

— Вот и я так думаю. Ему небось пуще шаха охота в царские грамоты заглянуть...

На утро следующего дня Кузьма, Ивашка и Серега пошли прогуляться по городу, забрели на майдан. Поглазели на всякие игры, на тех же баранов, что на потеху народу бились лбами, на свирепых волков, что грызли насмерть друг друга, на слона-великана. Так бродили они по майдану, с любопытством осматривая все, что попадало на глаза, пока не пришло время возвращаться домой. Тут подошел к ним какой-то персиянин в рваном платье и поманил за собой.

— Чего тебе? — грозно спросил Кузьма.

Но персиянин, не отвечая, показывал куда-то направо.

Кузьма оттолкнул персиянина и хотел было пройти мимо, как услышал истошный крик Ивашки:

— Ах ты, господи!.. Гляди-кось, Куземка, никак Хаджи-булат!

Кузьма поглядел вправо, куда показывал Ивашка. На невысоком деревянном помосте для общего обозре-

ния среди трех других голов лежала отсеченная голова Хаджи-булата...

— Вот оно как обернулось Вахрамеево слово об Олпане! — тихо произнес Кузьма и скинул шапку; обнажили головы и Серега с Ивашкой. — Ах, злодеи, что сделали с добрым стариком... — Кузьма низко поклонился. — Прости, отец, если в том наша вина...

Тут только вспомнил Кузьма о нищем персиянине и оглянулся. Но того уже не было, верно, скрылся в толпе.

— Прочти-ка, Серега, что тут написано, — сказал Кузьма, указывая на деревянную дощечку, прибитую к помосту.

— Я персидской грамоты не понимаю, а вокруг говорят: за хулу против шаха...

— Вон подо что подвели, супостаты!

На подворье возвращались молча, каждый думал о своем.

— А все же не задаром погиб старик, — будто про себя произнес Ивашка. — За родную землю жизни лишился...

И вдруг злобно добавил:

— Так и удавил бы проклятого Вахрамея!..

Миновало еще два дня, ни одна живая душа не появлялась на подворье: ни водоносы, приходившие раньше каждое утро, ни дворцовые слуги, носившие всякую снедь. Похоже было, что посольские люди остались одни в целом Казвине.

На третий день Кузьма послал Серегу с Ивашкой и Петром Марковым, кречетником, в город побродить по майдану, послушать людские толки. Они принесли

оттуда важную весть: накануне вечером шах выехал из Казвина в Испаган-город...

— А кто тебе этакую дулю на лоб посадил, Ивашка? — сердито спросил Кузьма. — Иль опять за свое взялся?

— Какое там! — засмеялся Ивашка. — Бродили мы по майдану, налетели на Серегу три молодца, да мы их так отделали, что не скоро забудут...

— Ну и нам, понятное дело, маленько досталось, — скромно добавил Серега.

— Это кому же досталось? — ворчливо перебил его Петр Марков, кречетник. — Их-то чуть живых унесли, а мы, вот они, целехоньки!

— То Олпаново и Мелкумово дело... — в раздумье произнес Кузьма. — А народ как же?

— Народ, как водится, расступился, — сказал Серега. — А потом, когда мы тех молодцов уложили наземь, стали нахваливать нас да обхаживать. Проверишь, Кузьма, чуть целоваться не лезли!..

Кодя поставил на стол кое-какую снедь из последних запасов, оставшихся на подворье, и все, кроме Вахрамеева, которому еду относили в покой, уселись за трапезу. Только отобедали — на подворье пожаловали Мелкум-бек с Алиханом.

Мелкум начал разговор тихим голосом, как бы с печалью.

— Шахово величество, — сказал он, — посылая меня к вам на подворье, изволил говорить так: «Ни одного часу не могу я более терпеть, не видя грамот брата моего. Сердце болит от скорби, что за мои грехи не дал мне бог видеть его великих послов. И утешусь я лишь тогда, когда увижу брата моего грамоты любительные. Вся моя радость в том — более мне нечему радоваться. Почему же люди посольские не дают мне грамот брата моего? Почему скрывают их от меня?»

Тут Мелкум помолчал, словно не решаясь мешать свою речь с шаховым словом. Затем уже от себя громко, грубо добавил:

— Несите сюда коробки с царскими грамотами, и да будет вам благо. Коли нет — на себя пеняйте!

Кузьма не спешил с ответом. Он глядел на Мелкум-бека, гадая, что тот затеял, на что решился.

— Мало схожа твоя речь, Мелкум-бек, с шаховой речью, — сказал он с усмешкой. — Уж больно цветисты говоришь...

— Не тебе, простому воину, судить о шаховой речи, — нахмурился Мелкум. — Когда говорят орлы, пчел не слышно.

— И не думаю я, чтобы шахово величество велел морить голодом посольских людей брата своего, нашего государя.

— Шахово величество приказал мне взять у вас царские грамоты. А раз вы их добром не даете...

— И не дадим, Мелкум-бек. Говорю тебе, мы не послушны, и нет среди нас ни одного, кто бы на такое дело решился. Будь шахово величество в Казвине...

— Откуда тебе известно, что шахиншаха нет в Казвине? — воскликнул Мелкум и тут же понял, что сказал лишнее.

— Откуда известно? Добрые люди сказали. Не столь уж много в Казвине людей, что стоят заодно с шаховыми недругами, хоть и хитры они, эти недруги шаховы, и чужой казной сильны, а числом невелики.

— Кто ж такие? — вкрадчиво спросил Мелкум. — Назови их, и шахово величество озолотит тебя!

— Шаху, верно, и самому известны их имена и дела. Да только их час еще не пробил...

И Кузьма так гневно посмотрел на Мелкума, что тому показалось, будто шею его коснулась холодная сталь палача.

— Довольно, посольский человек, — сказал он глухим голосом, с суеверным страхом глядя на простого русского воина. — В последний раз спрашиваю: отдадите или нет царские грамоты?

— Нет, Мелкум-бек, не отдадим.

— Не отдадите? — гневно закричал Мелкум. — Так не будет вам тут ни пищи, ни воды!

— Что ж, мы найдем подводы под свою кладь и уедем к шахову величеству в Испаган.

— Я не пушу вас! — кричал Мелкум. — Я поставлю стражу у ваших дверей!

— Как не пустишь? — подивился Кузьма. — Шах приказал отправить нас в Испаган вслед за ним!

Это была догадка, но, видать, она оказалась верной: Мелкум словно поперхнулся, не в силах вымолвить слово.

— Ну да... ну да... — заговорил он наконец. — Шахово величество приказал: возьми у них грамоты, и пусть едут тогда ко мне в Испаган, а оттуда я отпущу их на Москву... Но куда вы грамот не отдадите, — снова перешел на крик Мелкум-бек, — я вас отсюда не выпущу, голодом заморю!

— Вольно же тебе по-своему толковать шаховы слова...

Мелкум, не отвечая, повернулся к Алихану.

— Поставишь этих воинов, — он кивнул на своих телохранителей, — на страже у дверей подворья, затем пришлешь еще двух. Ответишь мне головой, если хоть один человек войдет сюда или выйдет отсюда...

Мелкум удалился. Поставив двух воинов у дверей, покинул подворье и Алихан. Оставшись одни, посольские люди стали думать, как им быть.

— А может, отдать ему, как наказывал подьячий, малые грамоты? — предложил поп Никифор. — Как скажешь, Кузьма?

— Чего спешить? — отозвался Кузьма. — Успеется.

— И я так думаю, что успеется, — сказал Петр Марков, кречетник.

— Что ж, — со смехом затянув пояс на брюхе, согласился поп, — можно и обождать... А что, если Мелкум силой решится большие грамоты взять?



— Силой? — повторил Кузьма. — Не-ет, силе не дадимся. Все помрем, а не дадимся...

Прошло два дня. Мелкум с Алиханом вновь появились на подворье.

— В последний раз спрашиваю вас от шахова имени, посольские люди, — сказал Мелкум. — Отдадите вы царские грамоты или нет?

— Ты шахова имени зря не поминай, Мелкум, — ответил Кузьма. — Не сносить тебе головы, если дознается шах о твоём беззаконии. Ты же нож кладешь между шахом и государем-царем...

— Врешь, стрелец! — вспыхнул Мелкум. — Это ты сеешь между ними вражду! Не о вражде писаны грамоты, а о любви и дружбе. Вот и отдай их тому, кому они посланы! Вы-ы! — крикнул он посольским людям. — Чего слушаетесь этого посла-самозванца? Отдайте мне грамоты, не то я заморю всех вас голодом! А коли отдадите, просите, чего пожелаете. Вот ты, служитель божий...

— Скажи ему, Серега, — поп весело поглядел на Мелкума, — скажи, что не хватит у него казны, чтобы купить нас!

Услышав в ответ дружный смех посольских людей, Мелкум что-то бормотнул Алихану и тотчас же удалился с подворья.

— Скверное дело, братцы, — заговорил Серега. — Алихану-то в сердцах он сказал: вот ослабеют совсем от голодухи, тогда и отберем у них грамоты без труда...

— Не пойдет он на это, — твердо уверил Кузьма. — Трусит, вижу, что трусит, гложет его страх перед шахом.

— Вот и мне сдается, что так, — согласился, как всегда, Петр Марков, кречетник.

— Зачем же он сказал: в последний, мол, раз спрашиваю? — усомнился поп.

— А чего ж было ему не сказать? — отозвался Кузьма. — Увидишь, завтра поутру прискачет...

По слову Кузьмы и вышло: наутро Мелкум с Алиханом снова пришли на подворье.

— Чего тебе? — встретил Мелкума суровым словом Кузьма. — Зарекся ходить — и опять пожаловал?

— Только вас жалея и явился, — сказал Мелкум. — В последний раз...

— Помолчи, Мелкум-бек, — перебил его Кузьма. — Вижу, запутался ты и сам уж не знаешь, как сойти тебе с этой гиблой дорожки. Думали мы тут меж собой и решили исполнить шахову волю: отдадим тебе две

грамоты и роспись царским поминкам. А уж самые поминки останутся тут, на подворье, до приезда великих послов... Давай сюда, Никифор, грамоты да росписи!

— Вот и давно бы так, — будто пропел Мелкум от радости и обеими руками принял от Никифора принесенные им бумаги. — Алихан! — повернулся он к приставу. — Сними стражу у дверей, вели прислать на подворье лучшие яства и пития из дворца, чтобы посольские люди ни в чем не знали отказа! А завтра готовьтесь, друзья, к отбытию в Испаган, в гости к шахиншаху, светочу мира... Алихан! Доставишь им наутро лучших коней из дворцовой конюшни...

А часа через два Мелкум-бек вернулся.

— Обманули, проклятые! — вопил он, забыв всякий стыд. — Какие же это грамоты? Так, пусторечье одно! Того ли от вас требовал шахиншах, проходимцы, последние люди! Не будет вам теперь ни еды, ни воды, покуда...

— Замолчи, ты! — крикнул в ответ Кузьма, став перед Мелкумом. — За хулу на царские грамоты будешь держать ответ перед шахом, а сейчас слушай, крепко слушай, что скажу я тебе. Мы выполнили первую шахову волю: отдали царские грамоты. Теперь выполним и вторую: завтра отбудем в Испаган-город. Если же твои воины станут нам на дороге, то знай: будем пробиваться силой, на смерть пойдем! Вот тебе последнее мое слово, а теперь поступай как знаешь.

И Кузьма отошел от Мелкума. И тут случилось неожиданное: Мелкум заговорил вдруг ласковым голосом. Его не так поняли: разве смеет он препятствовать шаховой воле и не пускать посольских людей в Испаган? Конечно, шах надеялся получить большие царские грамоты, но что делать, раз посольские люди не полномочны отдать их! А что до еды и питья, то все будет

доставлено на подворье, так же как добрые кони для посольских людей...

Мелкум-бек ушел. Посольские люди держали совет: всем ли ехать в Испаган-город? И решили, что поедут Кузьма с Ивашкой да Серега-толмач, а остальные останутся на подворье охранять кладь и поминки царские. Большие же грамоты и наказ постановили зарыть пока на внутреннем дворике, чтобы никто не мог покуситься на них.

На утро другого дня, одевшись в доброе платье и распрощавшись со своими друзьями, Кузьма, Ивашка и Серега уселись на добрых коней и отбыли в Испаган в сопровождении вожа и двух персидских воинов.

Выехав прохладным ясным утром из Казвина на бескрайнюю гладкую равнину, окружающую город, Кузьма и его спутники ощутили острую радость, что все испытания остались позади. Правда, еще неизвестно, что ожидает их в Исфагане.

Лишь порой мучила мысль: не согрешили ли они в чем в посольском деле, не причинили ли какого ущерба крепкой дружбе Москвы и Персиды? Впрочем, не пришло еще время судить о том...

Первый большой город, вставший на пути посольских людей, был Ком, прославленный гончарным и сабельным делом: комские клинки режут ткань на лету, а в глиняных комских кружках вода в жаркую пору сама холодеет. Заночевали в караван-сараях, и на первой заре снова отправились в путь. Чем дальше, тем все больше торопил Кузьма: чуть отойдя душой, он вновь был охвачен тревогой за посольское дело, за судьбу товарищей, оставшихся в Казвине. Лишь в много-

людном и богато отстроенном Кашане-городе задержались на день и на ночь.

Зато уж после Кашана-города не давал посольским людям Кузьма отдыха, пока в один из утренних дней среди гор, в обводе земляных стен, не стал перед ними стольный шахов город Испаган с тысячей дворцов, мечетей и башен.

— Велик ли город? — спросил Кузьма у вожя.

— Если захочешь объехать его за день кругом, то по сторонам не зевай!

— А много ли живет в нем народу?

— Считают — шесть раз по сто тысяч.

Вож провел посольских людей через узкие улочки, где в глиняных лачугах, похожих на печи, жила нищета.

— Отчего так? — обратился Ивашка к вожу. — Земля у вас благословенная, люди трудятся в поте лица, а живут в тесноте да в голоде?..

— Оттого, — хмуро ответил вож, — что на нашем горбу целый век живоглоты сидят...

— Это кто же такие?

— Такие уж... А за ними и всякий норовит себе долю урвать!

Кузьма оборвал Ивашку:

— Чего спрашиваешь? Будто на Руси не так ведется...

Выехали на широкую улицу с высокими домами из обожженного кирпича, вместо стекол в окнах деревянные решетки.

Посольским людям открылось неожиданное зрелище: неподалеку от них дрались несколько десятков людей: на земле валялись убитые и раненые.

— Подождите здесь, — сказал вож, — а я сбегаю узнаю, кто с кем не поладил.

Оказалось, поссорились люди английского и голландского послов.

Вож привел посольских людей на небольшое подворье, а сам отправился в шахов дворец с вестью о прибытии московских людей.

Не прошло и часу, как явился на подворье шахов человек с десятком слуг и сказал, что шахиншах ожидает посольских людей сегодня, в три часа пополудни.

Между тем слуги разостлали на полу покоя тканую скатерть и устали на ней всевозможные яства.

— Добрый знак, — сказал Ивашка, когда шахов человек вместе со слугами удалился с подворья.

— Кто знает, — отозвался Кузьма. — Может, оно так положено в Испагане...

Плотно подкрепившись, посольские люди в сопровождении вожа отправились в город. Тут они подивились на длинный каменный мост, переброшенный через реку Зандеруд; на ручьи-арыки, текущие по всему городу; на огромные караван-сарай — пристанища иноземных купцов и их товаров; на Девлет-Хане — шахов дворец, обведенный высокой стеной; на богатые дома именитых купцов и вельмож. Но более всего удивил посольских людей испаганский майдан, разбросавшийся на множество крытых улиц. Тут, на майдане, вели торг купцы со всего света: хорезмцы, бухарцы, китайцы, индийцы, турки, армяне, грузины, англичане, голландцы, испанцы, немцы, венецианцы. И каких только товаров не было тут — все, что только родит земля и что создают руки человеческие! Да и людей продавали на этом базаре...

В особом ряду, растянувшемся на целую улицу, торговали черными людьми из Африки, бухарскими и юргенскими пленными, персиянами, по бедности своей продавшимися в рабство, европейцами, захваченными морскими разбойниками и вывезенными на испаганский базар. От зари до заката шел тут оживленный торг.

— Глянь-ка, Кузьма, жалость какая! — сказал Иваш-

ка, остановясь перед молодой женщиной с завязанными за спиной руками. У ног ее лежали двое малышей, лет девяти—десяти мальчик и девочка.

— Чего смотришь? — обратился к нему купец. — Бери, дешево продам, последний товар остался...

И вдруг случилось такое, от чего у Ивашки шевельнулись волосы на голове.

— Братец... — услышал он тихий голос, полный страстной мольбы. — Родный...

— Куземка! — крикнул Ивашка. — Это же наша, русская жёнка! Да как тебя угораздило, голубка?

— Умыкнули нас татары с Рязанщины, годов тому пять...

Купец сердито крикнул что-то женщине на своем языке, привстал и хлестнул ее толстой веревкой.

— Ну, ты! — заорал на него Ивашка, взмахнув кулаком.

Кузьма перехватил Ивашкину руку.

— Брось, Ивашка, беду наживем, — сказал он су-рово. — Думаешь, мне не тяжело на такое глядеть?

Ивашка и сам теперь знал, как надо вести себя посольскому человеку, да что было делать, если не мог сдержаться от гнева и жалости. Он еще раз оглянулся на несчастную жёнку, кивнул ей приветливо и, склонив кудрявую голову, пошел прочь из этого проклятого ряда.

— Сколько я такого горя повидал! — вздохнул Серега. — Особенно на Туретчине и по ту сторону моря. Да и на Персиде немало живет пленников русских.

На подворье посольских людей уже ожидали присланные из конюшни шаха арабские кони, крытые попонами алого бархата, с длинными шелковыми кистями, стелив-

шимися по земле. Рядом с конями стояли конюхи в нарядной одежде, которые должны были вести коней по городу под уздцы.

Немного помедлив, чтобы явиться к шаху как раз в указанное время, посольские люди сели на коней и отправились во дворец.

У ворот Девлет-Хане их встретил человек и повел узким, длинным двором меж двух стен, вдоль которых через шаг стояли воины в высоких остроконечных шапках, украшенных пучками перьев. В самом конце двора оказался вход в просторный покой, устланный коврами.

Посреди покоя бил четырехугольный водомет, у стены под навесом, стоявшим на четырех резных столбах с позолотой, на шелковой подушке, поджав под себя ноги, сидел шах. На голове у шаха была белоснежная чалма с большим алмазом; поверх парчового кафтана висела пара черных соболей; на боку пристегнута сабля, сверкавшая золотом и драгоценными камнями. За навесом стояли полукругом двадцать юных слуг. А по сторонам шаха стояли два ближних человека. В одном из них посольские люди тотчас же признали знакомого им Аллаверди-хана, другой же был очень похож на Мелкум-бека.

«Никак Олпан?» — догадался Кузьма.

Подойдя к навесу, посольские люди сбросили шапки и поклонились шаху; он в ответ склонил голову и, глядя на Кузьму, приветливо улыбнулся. Аллаверди-хан подозвал к себе толмача и, как положено, спросил Кузьму о царском здоровье. Кузьма ответил, а затем и сам спросил о здоровье шаха. После этого посольские люди подошли к шаху, и он на каждого из них возложил руку.

Обряд был завершен. Аллаверди-хан подал знак слугам, и те быстро принесли и поставили возле посоль-

ских людей невысокие скамейки с подушками, на которые те уселись.

— Я рад тебя видеть, Кузьма, — заговорил дасково шах. — Но скажи мне, почему отказался ты выдать большие грамоты, посланные мне братом моим, белым царем?

— Мы поступили так, — отвечал Кузьма, — по завету великих послов, данному ими перед смертью, а также по наказу государя-царя. Эти тайные грамоты полномочны вручить тебе, шахово величество, лишь великие послы московские.

— Если так, — возмутился шах, — чего же пишет мне Мелкум о злой строптивости московских людей? И ты, Олпан, чего ради дерзко и злобно наговаривал мне на них? Скажи мне, Кузьма, уж не причинили ли вам в Казвине каких обид?

— Морили голодом и жаждой, шахово величество, грозили всеми казнями, чтобы вынудить нас нарушить государев наказ и завет великих послов московских. А только не в нашей обиде тут дело, мы сумели постоять за свою посольскую честь... — Кузьма побледнел от волнения и, подчеркивая каждое свое слово, добавил: — Хоть сними мою голову с плеч, шахово величество, а сдается мне, не для тебя твои люди старались о тех грамотах тайных.

И тут шах неожиданно для посольских людей сказал:

— Вот и я так думаю. Слова твои отвечают моим мыслям... — Он повернулся к Олпан-беку и спросил с каким-то угрожающим спокойствием: — А ты что скажешь об этом, Олпан? Ты сегодня только прибыл из Казвина — тебе ли о том не знать? Отвечай, разве приказывал я силой или угрозами требовать грамоты у московских людей, посланцев брата-моего? Что же ты молчишь? Говори, я приказываю тебе!

— Не ставь в упрек верным рабам своим, о светоч мира, усердие не по разуму... — тихо ответил Олпан-бек.

Шах отвернулся от него и сказал с презрением:

— Ты, верно, думаешь, подлый раб, султанский угодник, что лангерудский даруга не нашел дороги ко мне? Уйди отсюда, и чтобы я не видел лица твоего и лживых глаз твоих!

Олпан, опустив голову, вышел из покоя.

— Они думают, я слепой! — Глаза шаха загорелись гневом. — Я истреблю всех этих иноземных наемников, готовых вонзить мне в спину кинжал!.. Аллаверди, друг мой, скажи, вернулся ли посланный человек из Гиляна? — И, видя, что Аллаверди замешкался, добавил: — Говори, у меня нет тайн от послов брата моего!

— Он вернулся, славнейший из славных, и привез дурные вести...

— Пошли в Гилян пять тысяч воинов, Аллаверди, и пусть они станут там на постой. Ты хочешь мне что-то сказать, Кузьма?

— Да, шахово величество. По наказу великого посла, дьяка Емельянова, доношу тебе: хан гилянский сносится с турком и умышляет против целости державы твоей...

— Откуда великому послу стало известно о том? — строго спросил шах.

— От пристава, которого хан гилянский дал ему в провожатые.

— Но как же понудил великий посол приставу открыть ему тайну его господина?

— Того не ведаю, шахово величество. А только перед смертью своей просил тебя великий посол простить пристава за его чистосердечье.

— Аллаверди, — приказал шах, — вызови тайно пристава в Испаган, узнай у него обо всем и награди по заслугам... А тебе, Кузьма, спасибо за все, — голос.

шаха стал ласков. — Я ли не знаю цену посольским словам и посулам! Ты же делом мне доказал, что государь твой истинно желает блага державе моей, в то время как другие стремятся привести ее в разорение...

Шах шепнул что-то мальчику, державшему над ним опахало. Тот вышел, а через несколько минут в покой вошли трое слуг, неся на вытянутых руках золотные кафтаны, в которые тут же и одели посольских людей.

— Ты мне очень мил, Кузьма, — продолжал шах. — И не будь ты слугой брата моего, я сам хотел бы иметь тебя ближним моим человеком. Скажи мне, чем могу я наградить тебя, какую милость тебе оказать?

То ли Кузьма вовсе отучился думать о собственном благе, то ли запаматовал в эту минуту, что он не боярин и не купец, а всего-навсего десятник стрелецкий, но только он сказал:

— Есть у меня великая просьба, шахово величество. Отпусти на Русь всех пленников русских, что не по своей воле в рабстве живут на персидской земле!

Шах помолчал, как бы раздумывая о просьбе Кузьмы. Кузьма же, решив, что шах почел за дерзость его просьбу, добавил:

— Тем, шахово величество, ты и государю-царю угодное сделаешь!

— Будь по-твоему, Кузьма. — Шах благосклонно улыбнулся и, обратясь к Аллаверди-хану, приказал: — Вели кликнуть клич: у кого на моей земле живут русские пленники, пусть немедля ведут их к воеводам. А воеводы пусть их за счет моей казны снарядят в дорогу, на Русь. А кто не подчинится моему повелению, да будет смертью казнен!..

Посольские люди без уговору встали и отвесили шаху поклон.

— Сделай еще милость, шахово величество, — сказал Кузьма. — Дай нам отпуск на Москву!

— Что ж, — отвечал шах, — побудьте несколько дней в Испагане, а там отправляйтесь с богом!

Обласканные шахом, покинули посольские люди Девлет-Хане. Вечером того же дня они были у шаха на пиру до поздней ночи. И шах жаловал их, на зависть прочим послам. А наутро они узнали от вожа: шах своими руками казнил Олпан-бека, отсек ему голову.

— Собаке собачья смерть! — заключил Кузьма. — Приспело, видать, время, выведет теперь шах на своей земле все вражеское семя...

— Ишь ты, какой молодец, шах-то, — заметил Серега. — Своей, значит, рукой наказал. Был у нас в давнее время на Суздале князь...

Еще не раз побывали посольские люди на шаховых пирах, пока не решил шах отпустить их в Казвин. На площади у Девлет-Хане шах, сидя на коне перед ратью, с которой отправлялся в поход, милостиво напутствовал их в присутствии других иноземных послов:

— Ни один посол не мог бы лучше выполнить волю государя своего, чем это сделали вы. Хотя смерть послов и задержала на время подписание договорной грамоты о любви и дружбе между мною и братом моим, Федором Ивановичем, но я твердо знаю теперь: в сердцах наших эта грамота уже начертана на вечные времена.

По прибытии в Казвин Кузьма и его спутники застали своих товарищей в благополучии: никто их не тревожил, не обижал, Мелкума и Алихана в Казвине не было — шах вызвал их в Испаган.

Пристав Алы-бек, которому шах поручил сопровождать в Гилян посольских людей, по шахову велению пожаловал всех посольских людей богатым платьем,

дорогими саблями и кинжалами, а попа Никифора заячьей шубой. Кроме того, шах приказал Алы-беку дать им в Гиляне новую бусу, со всеми снастями, с кормщиком и носовщиком, и всякого припаса, сколько надобно до Астрахани.

До отъезда в Гилян оставалось с неделю. Все это время посольские люди прилежно заносили в статейный список все, что приключилось с ними в Казвине и в Испагане. Рухлядь посольскую решили с собой не брать и до приезда новых царских послов сдали ее по росписи приставу Алы-беку. Грамоты же, наказ и статейный список, чтобы сберечь их в пути от всяких превратностей, снова зашили в свою одежду Кузьма и Никифор.

В Гилян отъехали налегке, на шаховых быстрых конях в сопровождении пристава Алы-бека и небольшого отряда воинов. Будто во сне промелькнули мимо знакомые горы, долины, рощи, селения, городки, где столько горя было пережито, где в чужую землю навек легли друзья и товарищи; чем-то зловещим повеяло от высоченных, неуклюжих надгробий дьяка и подьячего; а вот и студеная горная речка, где посольские люди на беду искупались; и приветная с виду полянка, где ночью, ядовитый туман обернулся для них огненной немочью...

В Гиляне посольским людям пришлось прождать больше месяца, пока приготовили для них новую бусу.

В море они вышли 9 июня 1598 года. Алы-бек предостерег их: стало известно, что на море гуляют разбойничьи турецкие каторги. Султан приказал захватить русских послов и узнать от них, о чем переговариваются русский царь с шахом Аббасом...

Море было тихое, небо ясное, попутный ветерок, выгнав парус, быстро погнал бусу от гилянской пристани, и вскоре персидский берег исчез из виду.

Посольские люди сидели важные, прибранные, молчаливые. А пищали стрелецкие были сложены на дне бусы, под рукой. если и в самом деле набегут разбойники. Каждый думал свою думку, теперь уж не о прошлом, о прожитом, а о том, что кого ждет впереди, на родимой, русской земле.

К вечеру ветер повернул, и бусу стало относить к западу, прижимать к берегу.

— Чья земля-то? — спросил Кузьма.

Кормщик и носовщик долго разглядывали из-под ладони дальний берег, но толком решить не могли: то ли тут гилянкой земли конец, то ли начало турецкой. Часа через два, когда ветер пригнал бусу еще ближе к берегу, все разглядели небольшое селение, с каменной мечетью и минаретом.

— Бака! — вскричали в один голос носовщик с кормщиком.

Посольские люди знали от Алы-бека, что Бака — турецкий городок, служивший нередко пристанищем разбойничьих каторг. Что было делать? Тщетно бились носовщик и кормщик, стремясь увести бусу подальше от берега. А в Баке уже заметили судно: оттуда отошла большая каторга, полная людей, а за ней пять сандал.

Кузьма приказал людям сесть на дно бусы и приготовиться к бою.

Когда каторга оказалась от бусы саженьях в десяти, находившиеся в ней разбойники, стоя в рост, закричали по-турецки:

— Сдавайтесь на милость, не то перебьем всех до единого!

Кузьма ответил:

— Мы московского государя-царя люди, и вы жестоко поплатитесь за разбой!

В ответ послышался громкий хохот и стрельба из ружей.

Посольские люди по знаку Кузьмы дружно пальнули в ответ из пищалей, и несколько разбойников упало на дно каторги.

Обозленные этим, всё так же стоя в рост, они еще ближе подплыли к посольской бусе и снова стали стрелять из ружей. В ответ московские люди убили еще троих разбойников.

А другие сандалы, обойдя бусу, оказались с правой ее стороны. Кузьме пришлось поделить людей надвое: четверо стреляли с одного борта, трое — с другого. Били без промаху. Да и то сказать: разбойники как стояли в рост, так и остались. По-видимому, было у них в обычае: друг перед другом храбрость свою показывать.

Первым погиб Петр Марков, кречетник: он без слов отвалился от борта назад, сраженный пулей в висок. За ним, тяжело раненный, с пробитым горлом, упал на дно бусы Серега-толмач. Увидя это, смиренный чернец Кодя вдруг обезумел: отбросив пищаль, он бросился в воду и с криком: «Вот я их, супостатов, сейчас утоплю!» — поплыл к каторге. И что же, доплыл невредимый, ухватился рукой за борт, и тут же свалился в бездну с рассеченной надвое головой...

Уже тьма спускалась на море, а посольские люди все держались.

Тогда разбойники решили кончить бой одним ударом: они расступились, и глазам русских открылась небольшая медная пушка.

С каторги крикнули что-то, и сандалы тотчас сгрудились в стороне.

— Святый боже... — тихо прошептал поп Никифор.

И тут случилось неожиданное: раздался страшный грохот, вверх и в стороны метнулось ослепительно яркое пламя, каторгу вмиг разнесло в щепы, и разбойники очутились в воде.

До посольских людей донесли крики раненых и

утопающих; на помощь им тотчас же заспешили проворные сандалы. Но дорого досталась нашим победа: пулями, пущенными с сандалов, убило попа Никифора, Вахрамеева, Ивашку ранило в грудь, а Кузьму в плечо...

Убедившись, что ветер повернул на восток, кормщик и носовщик под пулями направили бусу прочь от берега и скоро вывели ее из-под огня сандалов.

Ветер был попутный, и хорошо оснащенная буса быстро бежала на Астрахань. На второй день Кузьма совершил печальный обряд: предал морю своих убитых друзей и верных спутников. На четвертый день умер от тяжкой раны Серега-толмач. Ивашка горел и бредил, лежа на дне бусы. Не спал и Кузьма, хотя рана его почти не болела: он старался облегчить страдания Ивашки и не знал, чем бы помочь ему...

Ивашка, не приходя в себя, умер, когда уже вдали показалась Астрахань. Схоронив его в родной земле и отпустив в обратный путь персиян, Кузьма на небольшом струге, снаряженном воеводой астраханским, отплыл вверх по Волге, к Москве.

Близилась зима, река почернела, курилась белым паром, небо было серое, набухшее. Вскоре ударил мороз, и в ста верстах от Саратова, у Данилова острова, струг вмерз в молодой крепкий лед...

Как ни устал Кузьма, а пришлось без проволоки двинуться дальше пешком, до первого городка, что в сорока верстах от Данилова острова. Тут он с большим трудом выхлопотал себе заезженную, понурую лошаденку, на которой и доплелся кое-как до Саратова. А от Саратова по зимнему пути добирался он от города к городу, то на перекладных, то на попутных крестьянских саях, почти забыв об усталости.

И вот наконец в морозной предутренней мгле блеснули в небе золотые купола и кресты. И, когда Кузьма

понял, что это Москва, что-то вдруг дрогнуло в нем, и из глаз его медленно, будто нехотя, выкатились две слезы.

В слободе Кузьма сошел с саней и не спеша — не было сил — двинулся в город, в Посольский приказ. И вдруг пошатнулся: в грудь его толкнул первый звонкий удар, упавший с колокольни Ивана Великого.

И Кузьме померещилось на миг, что это его встречает Москва колокольным звоном и в лице его все великое посольство, прошедшее тяжкий путь и погибшее в далекой Персиде.

— Да полно! — придя в себя, печально улыбнулся Кузьма и, тронув за плечо случайного прохожего, спросил: — Какой же нынче праздник, приятель?

Тот внимательно оглядел Кузьму, одетого в грязный стрелецкий кафтан, и не то с укором, не то с подозрением сказал:

— Ты в своем ли уме, стрелец? Иль не ведомо тебе, что нынче правитель Борис Федорович на царство венчается?..

Кузьма пошел дальше. Вот уж и Лубянка, а там, через площадь, Никольская, а от Никольской и рукой подать до Посольского приказа...

— Кто такой? — хмуро спросил Кузьму дородный, с властным лицом, главный дьяк приказа Василий Щелкалов. — Чего полез ко мне? Иль приказных тут мало?

Кузьма без слов распорол подкладку кафтана и выложил на стол царские грамоты, наказ и статейный список. Щелкалов перебрал бумаги, полистал их, затем приблизил статейный список к близоруким глазам и углубился в чтение. Прошел час, другой. Щелкалов все читал, а Кузьма стоял перед ним, шатаясь от страшной усталости. Наконец Щелкалов кончил читать и отодвинул от себя бумаги.

— Ладно, — сказал он. — Ты один, что ли, жив остался?

— Один.

— Ладно, — повторил он хмуро.

Кузьма понимал, что надо уходить, но его удерживало смутное чувство, что он не сказал еще самого главного и от себя, и от всех посольских людей.

— Чего ж стоишь? Ступай!

И Кузьма вышел из приказной палаты, расправив плечи и вскинув голову, будто набирая силу для жизни, распахнул тяжелую дверь, ступил на улицу и потонул в несконечном множестве московского, русского люда...



К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге присылать по адресу: Москва, Д-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги.

Для старшего школьного возраста

Нагибин Юрий Маркович

и

Рыкачев Яков Семенович

ВЕЛИКОЕ ПОСОЛЬСТВО

Ответственный редактор *С. М. Пономарева*

Художественный редактор *Н. Г. Холодовская*

Технический редактор *Т. В. Перцева*

Корректор

А. Б. Стрельник и К. П. Тягельская

Сдано в набор 22/VI 1959 г. Подписано к печати

8/X 1959 г. Формат 84 × 108¹/₂ — 5,75 печ. л. —

9,45 усл. печ. л. (8,02 уч.-изд. л.). Тираж 30 000 экз.

А-08183. Цена 3 р. 40 к.

Детгиз. Москва, М. Черкасский пер., 1.

2-я фабрика детской книги Детгиза Министерства
просвещения РСФСР. Ленинград, 2-я Советская, 7.

Заказ № 570.

**ПРОЧИТАЙТЕ КНИГИ НА ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ,
ВЫПУЩЕННЫЕ ДЕТГИЗОМ**

КУЗЬМИН А.

У. Золотых ворот.

Повесть рассказывает о событиях в древнерусском городе
Владимире в третьей четверти XII века

ИЗЮМСКИЙ Б.

Тимофей с Холопьевой улицы.

Историческая повесть, в которой рассказывается о жизни про-
стых людей в Новгороде начала XIII века

ДАВЫДОВ З.

Разоренный год.

Историческая повесть о том, как Минин и Пожарский собира-
ли русское ополчение во время войны с польскими интервен-
тами (XVII век)

МОГИЛЕВСКАЯ С.

***Повесть о кружевнице Насте и великом русском
актере Федоре Волкове.***

Книга рассказывает о возникновении театра Ф. Волкова и
о трагической судьбе крепостной девушки Насти

**Обращайтесь за этими книгами в свои районные и
школьные библиотеки.**
